Жан-Мари Гюстав

Леклезио

Африканец



«Я никогда не думал, что смогу обрести столько независимости».

Африканец
Жан-Мари Гюстав Леклезио

Аннотация
Жан-Мари Гюстав Леклезио. Африканец
Тело
Термиты, муравьи и проч
Африканец
От Джорджтауна до Виктории
Бансо
Ярость Огоджи
Забвение

Аннотация

«Африканец» – это больше чем воспоминания о тех годах, которые Жан-Мари Гюстав Леклезио провел в Африке, где его отец работал врачом. Это рассказ об истоках его мыслей, стремлений, чувств. Именно здесь, в Африке, будущий нобелевский лауреат почувствовал и в полной мере осознал, что такое свобода – бескрайняя, безграничная. Свобода, которую можно ощутить только на этом континенте, где царствует дикая природа, а люди не знают условностей.

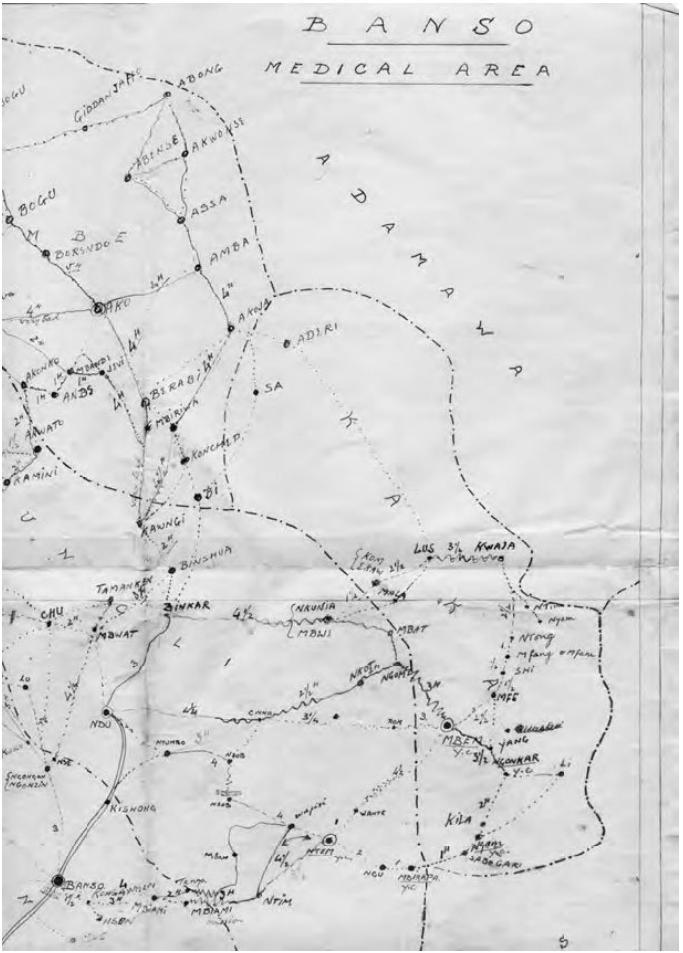
Жан-Мари Гюстав Леклезио
Африканец

Jean-Marie Gustave Le Clézio
L'AFRICAN
Copyright © Editions Mercure de France, 2004
Published by arrangement with Lester Literary Agency
© Жукова Н., перевод на русский язык, 2020
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020
Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет за собой уголовную, административную и гражданскую ответственность.

***

Жан-Мари Гюстав Леклезио — выдающийся французский писатель, лауреат премии Ренодо и Нобелевской премии 2008 года. Блестящий стилист, опубликовавший более сорока романов. Шведская академия назваплп его «автором гл-вых направлений, поэтических приключений, чувственных восторгов и исследователем чело-вечества вне пределов правящей цивилизации».

***


BANSO
MEDICAL AREA
ADAMAWA
ABONG
GIDDAN JAFFO
ABENSE
AKWONSE
BOGU
ASSA
BORONDO
AMBA
AKO
AKWA
ADERI
SA
ANDS
BERABI
MBIRIWA
KONCHEP
KAMINI
BI
KAWUGI
BINSHUA
TAMANKEN
CHU
BINKAR
MBWAT
NKUNIA
MBWI
MBAT
LUS
KWAJA
NDU
KISHONG
BANSO
MBIAMI
NTIM
MBEM
YANG
KILA
NGU
MBIRIMA

Фот. 1. Карта медицинского округа Бансо, Западный Камерун

Всякий человек — плод его отца и матери. Родителей можно не признавать, не любить, сомневаться в них. И все-таки они в нас — с их лицами, жизненной позицией, жестами, пристрастиями, иллюзиями, надеждами, формой ладоней и пальцев ног, цветом глаз и волос, манерой говорить, мыслями. Возможно, с уже отмеренным сроком жизни. Все это, безусловно, передается нам.

Долгое время я представлял, что моя мать была чернокожей. Я придумывал себе историю, вымышленное прошлое, стараясь убежать от реальности после моего приезда из Африки в страну и город, где я уже никого не знал, которому стал чужим. Много позже, когда мой отец, уже в пенсионном возрасте, вернулся, чтобы жить с нами во Франции, я понял, что как раз он-то и был Африканцем. Принять это было трудно. Мне пришлось мысленно вернуться в прошлое, начать все заново, попытаться понять. В память о том времени и написана эта маленькая книжка.

Тело

О лице, которое я получил при рождении, мне есть что сказать. Прежде всего пришлось его принять. Заявить, что оно мне не нравилось, означало бы придать ему ту важность, которой оно не имело, когда я был ребенком. Я не ненавидел его, нет, просто игнорировал, избегал по возможности. Старался не смотреться в зеркало. Теперь мне кажется, что я не видел его годами. Разглядывая фотографии, я притворялся, что не замечаю его, отводил глаза, будто это был кто-то другой, случайно занявший мое место.

В возрасте примерно восьми лет я жил в Западной Африке, в глухом местечке Нигерии, где, кроме моих родителей, европейцев не было, а все человечество для меня, ребенка, каким я тогда был, состояло исключительно из представителей племен ибо и йоруба. Хижина, в которой мы поселились (слово «хижина» несет определенный «колониальный» оттенок и сегодня кажется странным, однако оно прекрасно характеризует казенное жилье, выделяемое английским правительством военным врачам), состояла из

цементной плиты взамен пола, четырех сложенных из камня неоштукатуренных стен да выложенной пальмовыми листьями железной, без намека на декоративность, крыши. Гамаки, державшиеся на вделанных в стены крюках, исполняли роль кроватей. Единственной данью роскоши был душ, соединенный металлическими трубами с баком, который на крыше нагревался от солнца. В нашей хижине не имелось ни зеркал, ни картин, ничего, что напоминало бы о мире, в котором мы жили до сих пор. За исключением, пожалуй, распятия, повешенного отцом на стену, но и то было без человеческой фигуры. Именно там, в хижине, я овладел умением забывать. Мне кажется, что в момент, когда я переступил порог дома в Огодже, произошло «стирание» из моей памяти не только моего лица, но также и лиц всех, кто находился рядом.

Прямым следствием исчезновения лиц в это время явилось появление тел. Моего собственного, тел моей матери, брата, соседских мальчишек, с которыми я играл, африканских женщин на дорогах, вблизи дома, на рынке или возле реки. Статных женских тел, тяжелых грудей, кожи, лоснившейся на спинах, мальчишеских членов с обрезанными розовыми концами. Лица,

конечно, присутствовали тоже, но только как подобие кожаных масок: задубевшие, испещренные шрамами и ритуальными насечками. Выпуклые животы, шарики пупков, похожие на зашитые под кожу пуговицы. Был еще запах, и, главное, ощущение от прикосновений — кожа на ощупь не грубая, а теплая и легкая, покрытая тысячами волосков. От множества тел вокруг у меня создавалось впечатление особой, сокровенной близости, которой я не знал прежде: чего-то одновременно и нового, и хорошо знакомого, исключавшего всякий страх.

В Африке бесстыдство тел было великолепным. Оно давало простор, глубину, умножало ощущения, создавало вокруг меня людской водоворот. Это бесстыдство находилось в полной гармонии со страной ибо, с руслом реки Айя, деревенскими хижинами с их рыжеватыми крышами и стенами цвета земли. Оно искрилось в именах, которые впечатывались в меня, означая куда больше, чем просто названия мест: Огоджа, Абакалики, Энугу, Обуду, Батерик, Огруде, Обубра. Оно пропитало собой даже стены тропического леса, обступавшего нас со всех сторон.

В детстве не принято злоупотреблять словами (и они остаются незатасканными). Тогда я был

очень далек от всяких там прилагательных и существительных. Я не мог не то чтобы произнести, но и помыслить о таких понятиях, как «великолепный», «огромный», «мощь». Зато был способен их воспринять. Ощутить силу, с которой высокие прямые стволы устремлялись к мрачному, смыкавшемуся над моей головой своду, вовлекая в него, точно в тоннель, кровавую брешь латеритовой дороги, ведущей из Огоджи в Обуду; с необыкновенной остротой почувствовать мощь и великолепие обнаженных, блестящих от пота тел на окраинах деревни, объемистых силуэтов женщин с висящими на их бедрах детьми, — все то, что образует единый, нерасторжимый ансамбль, лишенный всяческой лжи.



Фот. 2. На реке, Аоада (Нигерия)

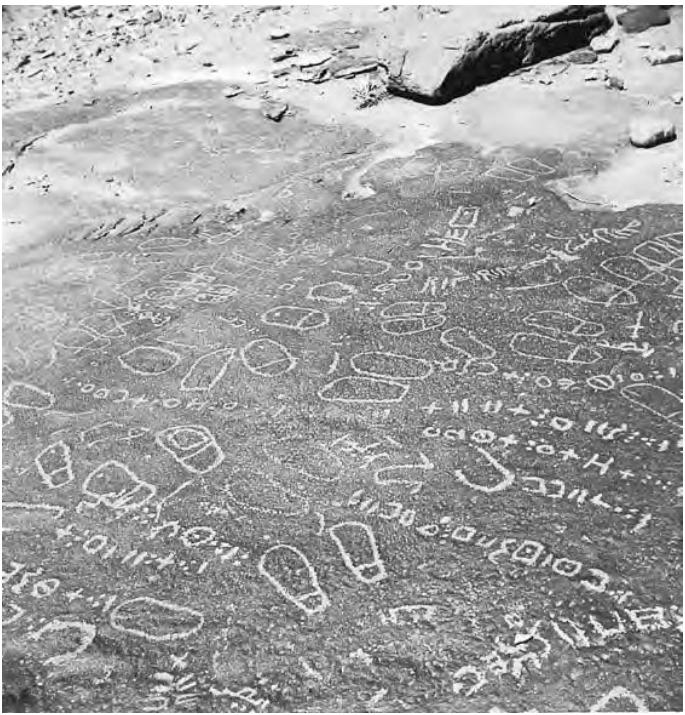
Я хорошо помню наш приезд в Обуду: вынырнув из лесной тени, дорога прямиком уперлась в залитую солнцем деревню. Отец остановил машину: вместе с мамой он должен был переговорить с местными властями. Я остался один посреди толпы, но мне совсем не было страшно. Чьи-то руки касались меня, трогали за плечи, проводили по волосам, выбивавшимся из-под полей шляпы. Среди тех, кто меня обступил, была одна старуха — тогда я еще не знал, что она

старуха. Предполагаю, я догадался о ее возрасте потому, что она отличалась от голых детей и одетых более или менее по-европейски мужчин и женщин, которых я видел в Огодже. Когда мама вернулась (возможно, смутно встревоженная скоплением народа вокруг меня), я показал на эту женщину: «Что с ней? Она больна?» Помню эти вопросы, которые я тогда задал маме. Обнаженное тело женщины, состоявшее из складок и морщин и напоминавшее сброшенный чехол, дряблые длинные груди, свисавшие до живота, сморщенная, увядшая, сероватая кожа, — все это казалось мне странным и в то же время чем-то настоящим. Мог ли я представить эту женщину своей бабушкой? И я ощущал вовсе не ужас и жалость, а приязнь и интерес, — то, что обычно вызывает созерцание истины, живой реальности. И только вопрос: «Она больна?» и сейчас жжет меня; странно, словно все это было вчера. И не из-за ответа — возможно, обнадеживающего или немного смущенного — моей мамы: «Нет, она не больна, она — старая, только и всего». Старость, воплощенная в женском теле, особенно шокирует ребенка, поскольку во Франции, в Европе, в стране корсетов, нижних юбок, бюстгальтеров и комбинаций, женщины успешно спасаются от

возрастной «болезни». У меня до сих пор горит щека, словно от пощечины, от этого наивного вопроса и по-своему жестокого ответа матери. Долгое время это оставалось во мне и не находило разрешения. Мой вопрос, разумеется, не был: «Почему эта женщина стала такой — уродливой, изувеченной старостью?» Но: «Зачем мне лгали? Почему от меня скрывали правду?»

Африка была скорее телом, нежели лицом. Ее отличали сила ощущений, неукротимость желаний, яркая выраженность сезонов. Первое воспоминание об этом континенте связано с моим телом, покрытым россыпью мелких пузырьков, вызванных перегревом кожи, — безобидный недуг, которым страдают все белые при попадании в экваториальную зону с комичным названием «потница», на английском — prickly heat. Голый, я лежал на койке в каюте судна, медленно огибавшего побережье, минуя порты Конакри, Фритаун, Монровию. Влажный воздух просачивался сквозь открытый иллюминатор на мое припудренное тальком тело, и мне казалось, что оно заключено в невидимый саркофаг или угодило в вершу, точно рыба, которую уже посыпали мукой и собираются жарить. Африка, отнявшая у меня лицо, взамен вернула мне тело

— страдающее, воспаленное тело, которое Франция долго от меня скрывала в расслабляющем тепле бабушкиного очага — тело, лишенное инстинктов, лишенное свободы.



Фот. 3. Ахаггар, наскальные надписи на языке

тамашек (Алжир)

Вторым приобретением, сделанным на корабле, который нес меня к новому миру, была память. Африканская действительность стерла все, что ей предшествовало: войну, убогое проживание в тесной квартире в Ницце (мы ютились впятером в двух мансардных комнатах, даже вшестером, если учесть служанку Марию, без которой не могла обходиться бабушка), продовольственные пайки, бегство в горы, где скрывалась мама, чтобы не попасть в лапы гестаповцев. Все это стерлось, исчезло, утратило реальность. Отныне для меня все «до» и «после» будут заключаться в одной лишь Африке.

Свобода в Огодже была царством тела. Ничто не сдерживало моего взгляда, когда я стоял на цементной платформе, служившей основанием нашему дому. Подобный жилищу, устроенному на плоту, дом наш высился посреди океана трав. Если как следует напрячься, я и сейчас смогу воспроизвести расплывчатые границы этого уголка. Кто-то, сохранивший фотографическую память о нем, был бы поражен, сколько всего мог увидеть восьмилетний ребенок. Прежде всего, конечно, сад. Не сад как место для отдыха — да и существовало ли в этой стране что-то,

предназначенное для праздности? Нет, это было скорее полезное пространство, где отец посадил плодовые деревья, манго, гуайяву, папайю, а в качестве изгороди перед верандой — апельсиновые и лаймовые деревья, чьи листья муравьи «подбили» белым пухом, создав воздушные гнезда для безопасности своих яиц. В задней части постройки, посреди зарослей кустарника, располагался курятник, где мирно жили куры и цесарки, о присутствии которых свидетельствовали лишь парившие в небе стервятники, в которых отец иногда палил из винтовки. И все-таки это был сад, раз уж один из слуг носил титул садовника — garden boy. На другом конце наших владений, вероятно, стояли хижины слуг: «боя», «младшего боя» и наверняка повара, которого мама особенно любила, готовя вместе с ним разные кушанья, не французские, а например арахисовый суп, жареный батат или фуфу — ямсовую кашу, ставшую нашим повседневным блюдом. Время от времени мама ударялась с ним в эксперименты: варенье из гуайявы или цукаты из папайи, или сорбеты, которые она взбивала собственноручно. В этой части двора всегда было много детей, которые приходили сюда каждое утро поиграть и поболтать с нами и с которыми мы расставались лишь

с наступлением сумерек.

Все это может создать впечатление колониальной, очень организованной, почти городской, или, по крайней мере, деревенской жизни, по образу Англии или Нормандии доиндустриальной эпохи. Но это была жизнь, полная свободы тела и духа. Прямо перед домом, в противоположном направлении от больницы, где работал отец, открывался безбрежный травяной простор, слегка волнуемый ветром, в котором легко терялся взгляд. На юге пологий склон вел к затянутой туманом долине Айи, притоку реки Кросс, и селениям — Огоджа, Иджама, Бавоп. На севере и востоке расстилалась обширная красноватая равнина, утыканная гигантскими термитниками и перерезанная многочисленными ручьями и болотами, и виднелась кромка леса — владения исполинов: ироко — «африканского дуба», аукумеи; и над всем этим — безбрежное небо, ярко-синий купол с палящим солнцем, во второй половине дня неизменно затягивавшийся грозовыми облаками.

Еще я помню ощущение мощной, постоянно довлевшей надо мной силы. Нет, не той скрытной, лицемерной, неотступно преследующей, с которой хорошо знакомы те, чье детство пришлось на

военные годы, заставляющей тебя тайком пробираться из дома, шпионить за немцами в серых шинелях, снимающими шины с бабушкиного «де дион-бутона», слушать сквозь сон разговоры о контрабанде и шпионаже, все эти завуалированные словечки, сообщения, пришедшие от отца по каналам господина Ожилви, американского консула, и особенно разговоры о голоде, об отсутствии всего на свете — по слухам, бабушкины кузины питались овощными очистками. Та, довлевшая над всеми нами сила военных времен на самом деле была не физической. Она была тайной и скрываемой, как болезнь. Но от нее бесконечно страдало мое тело, она вызывала приступы ничем не снимаемого кашля и такие сильные головные боли, что мне приходилось порой прятаться под длинной юбкой круглого стола и изо всех сил давить кулаками на глазницы.

Огоджа дала мне ощущение совсем иной силы — открытой, реальной, от которой по телу пробегала дрожь. Она проявляла себя в каждой детали жизни и окружающей природы. В грозах, каких я прежде не видывал и о каких даже не мог помыслить, в исполосованном молниями чернильном небе, ветре, разбрасывавшем, как спички, деревья вокруг сада, срывавшем пальмовые кровли,

вихрем влетавшем в столовую из-под двери и гасившем керосиновые лампы. Порой вечерами с севера приходил и красный ветер, от которого сияли стены. Электрическую силу я обязан был принять, приручить, и мама изобрела такую игру: подсчитывать секунды, отделявшие нас от удара грома после всполоха молнии, слушать, как он приближается километр за километром, а затем уходит в горы. Однажды днем, когда отец оперировал в больнице, молния проникла в дверь и бесшумно расползлась по полу, расплавив металлические ножки операционного стола и подпалив резиновые подошвы отцовских сандалий; затем стянулась в шар и ушла так же, как и явилась, тем же путем, точно эктоплазма, а затем вознеслась в небеса. В легендах часто бывает отражено не что иное, как реальность.

Африка, несомненно, обладала силой. Для ребенка, которым я тогда был, эта сила была всемогущей, неоспоримой. Она вызывала прилив энтузиазма. Трудно говорить об этом сегодня, после стольких бедствий и потерь. Мало кто из европейцев испытал это чувство. Служба отца сначала в Камеруне, а затем в Нигерии создала для него нетипичную, исключительную ситуацию. Большинство англичан, работавших тогда в

колониях, выполняли чисто административные функции. Они были либо военными, либо судьями, либо окружными комиссарами (все эти D. O., чьи инициалы, звучавшие на английском как «ди-о», наводили на мысль о чем-то религиозном, вроде названия молитвы «Deo gratias», которую мама нам читала на веранде каждым воскресным утром). На территории радиусом порядка шестидесяти километров отец был единственным врачом. Кстати, приведенная мной цифра сама по себе не несет никакого смысла. Окружным центром был городок Абакалики, в четырех часах езды, и, чтобы туда добраться, следовало сначала переправиться через реку Айя на пароме, а затем пересечь густой лес. Другая ближайшая резиденция D. O. находилась на границе Французского Камеруна, в Обуду, у подножия холмов, где до сих пор еще водились гориллы. В Огодже отец возглавлял клинику (бывшую миссионерскую больницу, оставленную монахинями) и был единственным доктором на всю северную часть провинции Кросс-Ривер. Там ему приходилось делать все, как он скажет позже, «от родовспоможения до вскрытия». Мы же с братом были единственными белыми детьми во всем регионе. Однако мы и знать не знали ничего о том, что

сформировало общепринятое и карикатурное представление о ребенке, чье детство прошло в колонии. Когда я читаю «колониальные» романы, написанные англичанами той эпохи, либо времени, предшествовавшего нашему приезду в Нигерию, — Джойса Кэри, например, автора «Мистера Джонсона», я в них не нахожу для себя ничего знакомого. Читая Уильяма Бойда, который также провел часть детства в британской Западной Африке, я ничего не узнаю: его отец был окружным комиссаром (кажется, в Аккре, Гана). Мне вовсе ничего не было известно о том, что он описывал: тяготы колониальной жизни, нелепое поведение белого общества, прозябавшего на побережье, все те мерзости, к которым дети так восприимчивы, их презрение к туземцам, из которых они знали только слуг, вынужденных раболепствовать перед детьми хозяев, и еще: неизбежная групповщина, объединявшая и вместе с тем разделявшая детей одной крови, в недрах которой они видели в окружающих лишь отражение собственных недостатков и фальши и которая становилась настоящей школой, формировавшей у них расистское сознание и подменявшей собой путь истинного познания. Могу с уверенностью сказать, что, слава богу, все

это было мне совершенно чуждо.

В школу мы не ходили. У нас не было клуба, спортивных мероприятий, каких-либо установленных для нас правил, друзей в том смысле, в каком это понимается во Франции или Англии. Самое отчетливое воспоминание связано у меня с путешествием на корабле между двумя мирами. Когда я сегодня смотрю на единственную сохранившуюся фотографию нашего дома в Огодже (крошечный снимок 6 х 6, из тех, что были в ходу после войны), мне трудно поверить, что это именно то место: большой открытый сад, где беспорядочно растут пальмы и огненные деревья, пересеченный прямой аллеей с припаркованным монументальным «Фордом V-8» моего отца. Обычный дом с крышей из рифленого железа, а вдалеке виднеются первые гиганты подступающего леса. В этой уникальной фотографии есть что-то холодное, суровое, навевающее мысли об империи, некая смесь военного лагеря, английской окраины и мощи природы. Что-то подобное я встретил лишь многие годы спустя в районе Панамского канала.



Фот. 4. Танец «самба», Баменда

Именно здесь, в этой обстановке, я пережил самые яркие моменты моей дикой, вольной, едва ли не опасной жизни. Свобода передвижения, свобода мыслей и эмоций, которой позже я уже не знал. Воспоминания наверняка меня обманывают. Эта жизнь, напоенная свободой, — я, скорее всего, лишь грезил ей, а не жил по ее законам. О ней мечтал я в унылые дни моего пребывания в Южной Франции, во время войны и в пятидеся-

тые годы, на которые пришелся не менее тусклый конец моего детства, в Ницце, отвергнутый одноклассниками из-за полной нашей несхожести, угнетаемый деспотизмом отца, удрученный посредственностью лицейского периода, а затем и скаутского, и позже, уже в подростковом возрасте, одержимый боязнью, что, возможно, мне придется участвовать в войне, отстаивая ценности последнего оплота колониализма.



Фот. 5. На пути к деревне Лааком (Леком), стра-

на народа нком

Дни, проведенные в Огодже, стали моим сокровищем, лучезарным прошлым, которого я не мог потерять. Я вспоминал вспышки солнечных бликов на красной земле потрескавшихся от зноя дорог, наши босоногие пробежки по саванне до крепостей-термитников, ежевечернее приближение грозы, шумные ночи, страхи, нашу кошку, занимавшуюся любовью с дикими котами на рифленой железной крыше, оцепенение, следовавшее за лихорадкой на рассвете, в прохладе, пробиравшейся под противомоскитную сетку. Вся эта жара, все это пылание и вся эта дрожь.

Термиты, муравьи и проч

Перед домом в Огодже, если преодолеть границы сада (скорее заросли кустарника, чем аккуратно подстриженную зеленую изгородь), начиналась обширная травяная равнина, простиравшаяся до реки Айя. Память ребенка преувеличивает расстояния и высоты. Было впечатление, что равнина безбрежна, как море. Я часами мог оставаться на краю цементной площадки — своеобразного тротуара перед нашим домом, — устремив взор в необъятный простор и наблюдая, как волнуется под ветром океан трав, порой задерживая взгляд на крошечных пыльных смерчах, пляшущих над сухой землей, или выискивая пятна тени у подножия мощных ироко. Я и правда находился на палубе корабля. Кораблем был наш дом — не только его бетонные стены и рифленая крыша, но и все остальное, что несло отпечаток Британской империи. Он был подобием «Джорджа Шоттона», о котором я слышал, бороздившего воды Нигера и Бенуэ во времена лорда Лугарда: парохода с бронированным корпусом и железной крышей, оснащенного

артиллерийским вооружением, как настоящее канонерское судно, где англичане разместили конторы консульства.

Я был всего лишь ребенком, и могущество империи мало меня волновало. Но отец взял за правило подчинить свое и наше существование строгой регламентации, словно только она и придавала его жизни смысл. Он свято верил в дисциплину, которая должна была присутствовать в каждом жесте каждого дня: рано вставать, сразу же заправлять кровать, умываться холодной водой в оцинкованной шайке, причем следовало оставлять мыльную воду для замачивания носков и трусов. Уроки с мамой каждое утро: правописание, английский, арифметика. Ежевечерняя молитва, а ровно в девять — отбой. Ничего общего с былым нашим воспитанием на французский манер: ни тебе игр в фанты и кошки-мышки, ни веселых застолий, где все говорят одновременно, ни чудесных старинных бабушкиных песен-сказок, за которыми следовало сладкое погружение в сон на ее кровати, под мягкий скрип пружин и тихое повествование о приключениях в Нормандии Сороки-путешественницы из книжки «Радость чтения». После отъезда в Африку наш мир преобразился. Наградой за суровость

утренней и вечерней дисциплины была дневная свобода. Травяная равнина перед домом казалась необозримой, таящей опасность и одновременно притягательной, как море. Я никогда не думал, что смогу обрести столько независимости. Равнина была здесь, перед моими глазами, готовая принять меня в свои объятия.

Я не помню точно день, когда мы с братом впервые решились отправиться в саванну. Возможно, нас подтолкнули к этому деревенские дети: разношерстная банда, включавшая и голых карапузов с раздутыми животами, и почти подростков двенадцати-тринадцати лет, одетых, как и мы, в шорты цвета хаки и рубашки; они-то и научили нас снимать обувь и шерстяные носки и бегать по траве босиком. Те, кого я вижу на редких фотографиях рядом с нами — с очень темной кожей, угловатых, откровенно насмешливых, боевитых, однако принявших нас в свою компанию, несмотря на все наши различия.

Наверное, это было нам запрещено. Но, поскольку отец отсутствовал весь день, до поздней ночи, мы, по всей видимости, прекрасно осознавали, что запрет был весьма условным. Мама же для запретов была чересчур доброй. Уж точно, днем она занималась другими делами — чита-

ла или писала внутри дома, скрываясь там от послеполуденного зноя. Она сумела превратить себя в настоящую африканку, в ее понимании, а потому наверняка должна была испытывать уверенность в том, что на Земле не существует более безопасного места для двух мальчуганов нашего возраста, чем саванна.

Было ли в Африке действительно так уж жарко? Я этого не помню. Помню зимний холод в Ницце или Рокбийере, все еще чувствую леденящий ветер в проулках, помню холод ото льда и снега, несмотря на теплые гетры и овчинные полушубки. Но было ли жарко в Огодже — не помню. Если мама видела, что мы выходим из дома, она заставляла нас надевать «тропические шлемы», на деле — обычные соломенные шляпы, которые она перед отъездом в Африку купила для нас в Ницце, в лавке Старого города. Мой отец, помимо прочего, установил для нас правило обязательного ношения шерстяных носков и начищенных кожаных ботинок. Но стоило ему уехать на работу, как мы тут же освобождались от них и бегали босиком. Первое время я постоянно расцарапывал себе ногу на цементной площадке, и отчего-то всегда это был большой палец правой ноги. Мама бинтовала пораненную ногу, и я

скрывал повязку под носком. На следующий день все начиналось сначала.

Итак, однажды мы вдвоем с братом отправились в саванну, двигаясь в направлении реки. Айя в этом месте была не очень широкой, но отличалась бурным течением, вырывавшим из берегов комья красной грязи. Равнина по обеим ее сторонам казалась бесконечной. Вдалеке — то тут, то там, посреди травы, высились деревья с очень прямыми стволами, о которых я позже узнал, что они использовались для поставок ценной древесины в развитые страны. Росли там и хлопковые деревья, и колючая акация, отбрасывавшая легкую тень. Мы бежали почти без остановок, на последнем дыхании, в высоченной траве, хлеставшей нас по лицу на уровне глаз, ориентируясь по стволам высоких деревьев. И сегодня, когда я вижу иллюстрации с африканскими пейзажами — Серенгети или Национального парка Кении, я чувствую, как сильнее бьется мое сердце, мне кажется, я узнаю равнину, по которой мы в послеполуденной жаре ежедневно носились без всякой цели, подобно диким животным.

В середине равнины, на довольно большом расстоянии, так что наш дом уже не был виден,

они и стояли — эти «замки». На оголенной сухой земле вздымались вверх, подобно древним цитаделям, темно-красные стены, по которым от основания до вершин тянулись почерневшие от пожаров «гребни». Над ними — то здесь, то там — виднелись еще более высокие башни с изрешеченными верхушками, вероятно, исклеванные птицами, истерзанные ветрами и обожженные молниями. Эти «крепостные сооружения» занимали огромную поверхность и казались нам сказочным городом. И стены, и башни были выше нас. Конечно, тогда мы были всего лишь детьми, но если все же доверять моим воспоминаниям, то, похоже, эти стены превосходили средний рост человека, а иные из башен превышали двухметровую отметку.

Нам было известно, что это город термитов.

Как мы узнали? Возможно, об этом сказал нам отец или кто-то из деревенских мальчишек. Однако никто нас туда не приводил. Мы с братом не только пришли сами, но и научились разрушать эти «укрепления». Кажется, для начала мы запустили несколько камней, прислушиваясь к глухому звуку ударов по пустотелым стенам. А уж потом стали лупить по ним палками, наблюдая, как осыпается пылеобразная земля, обнажая

галереи и обитавших в них слепых насекомых. К следующему дню рабочие особи успевали заделать бреши, пытались восстановить башенки. И тогда мы вновь принимались бить по ним палками, до боли в руках, будто сражались с невидимым врагом. Мы не разговаривали, а лишь молотили, испуская крики ярости, и вновь стены рушились под нашими ударами. Это была игра. Но так ли уж это было игрой? Мы чувствовали себя всемогущими, полными первобытной силы. Однако теперь я вспоминаю об этом не как о садистском развлечении испорченных детей, не как о безнаказанной жестокости, которую, случается, мальчишки проявляют к беззащитным формам жизни, отрывая лапки у колорадских жуков или давя дверью жабу, — но как о своего рода опьянении завоевателей, вдохновленных простором саванны, близостью леса, неистовством палящего солнца и мощью близящейся грозы. А возможно, таким образом мы отвергали деспотичную власть отца — нанося термитникам удар за ударом нашими орудиями.

Когда мы отправлялись разорять термитники, деревенских детей никогда рядом не было. Несомненно, ярость разрушения поразила бы их, ибо они жили в мире, где термиты были данностью,

играли определенную роль в преданиях. Это бог термитов сотворил реки в начале мира, именно он хранил воду для жителей Земли. Зачем же громить его дома? Насилие ради насилия не имело для них никакого смысла: помимо игр, что-то делать означало зарабатывать деньги, добывать лакомства, охотиться на что-либо продаваемое или съедобное. Самые маленькие всегда были под наблюдением старших, не оставались в одиночестве и никогда не были предоставлены самим себе. Игры, общение и мелкие работы чередовались у них в произвольном порядке. Во время прогулок они собирали сушняк и коровьи лепешки для топки; нося воду, часами толпились возле колонок и болтали. Часто, расположившись прямо на земле, они играли в «Собери камешки!» или просто сидели перед входом в дом отца, уставясь в пространство, в ожидании неизвестно чего. Если им и доводилось что-то стянуть, то это были исключительно полезные вещи: кусочек пирога, спички, старая проржавевшая тарелка. Время от времени наш садовник приходил в ярость и пытался их разгонять, кидая в них камешки. Дети разбегались, но через мгновение появлялись снова.

Итак, в те времена мы были дикими, как юные

первые поселенцы, уверенные в нашей полной свободе, безнаказанности и не несущие никакой ответственности перед старшими. Когда отец был в отъезде, а мама спала, мы тут же сбегали, и саванна принимала нас в свое лоно. Мы бежали очень быстро, как только могли, босиком, все дальше и дальше уходя от дома, сквозь высокие травы, стегавшие нас по глазам, перепрыгивая через обломки скал, по сухой, потрескавшейся от солнечного жара земле до поселений термитов. Сердца стучали, вместе с шумным дыханием из грудей вырывалась жажда насилия: мы хватались за камни, палки и били, били, обрушивая стены «соборов», просто так, ни для чего, единственно ради удовольствия смотреть на вздымающиеся клубы пыли и слушать треск рушившихся башен и глухое эхо от ударов по затвердевшим стенам, наблюдая, как на свет божий являются галереи, красные, словно струящаяся по венам кровь, полные роящейся там бледной живности перламутрового цвета. Но, возможно, описывая все это, я делаю слишком литературной, слишком символичной ту ярость, что вселялась в наши руки, когда мы громили термитники. Ведь мы были всего лишь детьми, прошедшими через пять лет войны и получив-

шими «женское воспитание», жившими в особой обстановке — некой смеси страха и хитрости, в которой единственным лучом света был голос нашей бабушки, проклинавшей бошей. Дни, когда мы носились по высоким травам Огоджи, были нашим первым опытом свободы. Сами по себе саванна, грозы, назревавшие ежедневно во второй половине дня, нещадное солнце, воспалявшее наши головы, и это слишком явное, почти гротескное проявление животной жизни — вот что распирало наши маленькие груди и бросало нас сражаться с термитниками, с их почерневшими на верхушках башнями, словно восставшими против неба. Думаю, что с тех пор я никогда уже не чувствовал подобных порывов. Такой необходимости измерить свои силы, властвовать над окружающим. Это был один из эпизодов нашей жизни, всего лишь эпизод, без каких-либо объяснений, сожалений, последствий, почти лишенный памяти о нем.

Мне кажется, все было бы иначе, если бы мы продолжали жить в Огодже и стали похожими на африканцев. Я бы научился их восприятию, научился чувствовать, как они. Подобно деревенским мальчишкам, я научился бы говорить с живыми существами, видеть ту божественную

сущность, которая была заключена в термитах. Полагаю, через короткое время я перестал бы думать о них вовсе.

Но тогда во всем для нас была спешка, срочная необходимость. Мы явились с другого конца света (потому что Ницца действительно находилась на другом конце света). Явились прямиком из квартиры на седьмом этаже жилого дома, окруженного садиком, где дети не имели права играть, чтобы поселиться в Экваториальной Африке, на берегу мутной реки, которую обступал лес. Мы даже не знали, вернемся ли обратно. Возможно, мы думали, как и все дети, что останемся здесь до самой смерти. Там, на противоположном берегу жизни, мир замер в тишине. Бабушка со своими сказками, дедушка с певучим голосом «маврикийца», товарищи по играм, одноклассники — все это застыло, подобно игрушкам, запертым в сундук, подобно детским страхам, сокрытым в глубине шкафов. Травяная равнина все это уничтожила, растворила в жарком послеполуденном дыхании. Она обладала силой, заставлявшей биться наши сердца, порождала в них ярость, чтобы вечерами бросать нас в гамаки — обессиленных, покорных, умирающих от усталости.

Муравьи были оборотной стороной этой яро-

сти — в противоположность травяной равнине, разрушительному насилию. Существовали для меня вообще муравьи до Огоджи? Не помню. Или, возможно, существовали, если вспомнить «аргентинских муравьев», эту черную пыль, которая каждую ночь заполоняла бабушкину кухню, прокладывая крошечные дорожки от жардиньерок с розами, установленных на поддоны, к мусорному ведру, и которую она сжигала в печке.

В Огодже муравьи были устрашающего вида насекомыми «экзектоидной» группы, устраивавшими гнезда на глубине десяти метров под лужайкой сада, где вполне могли обитать сотни тысяч особей. В отличие от нежных и беззащитных термитов, неспособных при их слепоте причинить никому зло, если не считать того, что они изгрызали подгнившую древесину домов и стволы сухих деревьев, муравьи эти были красными, свирепыми, с глазами и мощными челюстями, способными выделять яд и нападать на любого, кто попадался им на пути. Они-то и были настоящими властителями Огоджи.

В моей памяти хранятся жгучие воспоминания о моей первой встрече с муравьями сразу после прибытия в Огоджу. Я находился в саду, неподалеку от дома, и не заметил отверстия в

земле, которое было не чем иным, как входом в муравейник. Внезапно, я и сам не понял, как это произошло, меня окружили со всех сторон тысячи насекомых. Откуда они взялись? Скорее всего, я придавил ногой «оголенную» зону, расположенную вокруг отверстия их галерей. И запомнились мне не столько муравьи, сколько ужас, который я тогда ощутил. Я замер на месте, неспособный убежать, неспособный думать, на земле, мгновенно превратившейся в живой ковер из панцирей, лапок и усиков, который кишел вокруг меня, все больше затягивая меня в свой водоворот, я видел муравьев, карабкавшихся на мои ботинки, пробиравшихся между петлями пресловутых шерстяных носков, навязанных мне отцом. Одновременно я почувствовал жжение от первых укусов на лодыжках и вдоль бедер. Ужасное впечатление, что вот-вот я буду съеден живьем. Сколько это продлилось, — секунды, минуты? Достаточно, чтобы оказаться кошмаром. Я этого не помню, но, кажется, я закричал, должен был закричать, потому что в следующий момент я был спасен мамой, которая унесла меня на руках, а там, перед верандой, меня обступили брат и соседские мальчишки. Они молча смотрели, и, как знать, не смеялись ли? А может, зубоскали-

ли вовсю: Small boy, him cry? Мама сняла с меня носки, аккуратно их сворачивая, словно удаляя омертвевшую кожу, и — словно меня исхлестали колючие ветки — я увидел, что мои ноги покрыты темными точками с проступающими из-под них капельками крови, это были муравьиные головы, оставшиеся на коже, тогда как тела были уже вырваны, пока мама избавляла меня от носков. Муравьиные челюсти так глубоко вонзились мне в кожу, что головы пришлось извлекать одну за другой промытой спиртом иголкой.

Случай из жизни — ни больше ни меньше. Но почему он так прочно засел в моей памяти, словно я до сих пор чувствовал на ногах следы от укусов муравьев-«солдат», словно все это произошло вчера? Наверняка потому, что к этому примешивалась легенда, давняя греза. Еще до моего рождения, рассказывала мне мама, ей приходилось путешествовать верхом по западной части Камеруна, где отец работал разъездным врачом. Ночи им порой приходилось проводить в «дорожных хижинах», обычных лачугах из ветвей и пальмовых листьев, стоявших по обочинам дорог, в которых они вешали свои гамаки и спали. Как-то вечером пришли носильщики и разбудили их. В руках у них были зажженные

факелы, и говорили они тихими голосами, торопя отца и маму поскорее встать. Когда мама это рассказывала, она прибавляла: первое, что ее тогда встревожило, — это тишина, мертвая тишина вокруг, тишина в лесу и шепот носильщиков. Стоило ей подняться, и при свете факелов она увидела, что огромная колонна муравьев (те же красные муравьи, которых обступали «солдаты») вышла из леса и начала пересекать поле. Даже не колонна, а скорее вязкая живая река, которая медленно продвигалась, следовала прямым курсом, не останавливаясь и не заботясь о препятствиях. Тесно сцепленные друг с другом, муравьи двигались, сжирая и разрушая все на своем пути. Отцу и матери едва хватило времени собрать вещи, одежду, сумки с продуктами и лекарствами. В следующее мгновение темная река достигла хижины.

Сколько раз слышал я от мамы эту историю? Наверное, немало, если в конце концов поверил, что она произошла со мной, смешав в сознании всепожирающую реку с вихрем муравьев, которые на меня напали. Ощущение присутствия роящихся вокруг меня насекомых порой завладевает мной, и я застываю во сне, прислушиваясь к тишине, нестерпимой, пронзительной тишине,

которая страшнее любого шума в мире. Тишине муравьев.

В Огодже насекомые были повсюду. Дневные, ночные. Часто то, что ненавидят взрослые, не вызывает такой же реакции у детей. Мне почти не приходится напрягать воображение, чтобы представить, как отовсюду, из всех углов, каждую ночь у нас в Огодже являлись полчища тараканов — «тараканищ», как говорил о них когда-то дедушка на креольском, этих героев маврикийской загадки: kankarla, nabit napas kilot, что означает: «во фраке, но без портóк». Насекомые вылезали из щелей в полу, из-под потолочных плинтусов, семенили со стороны кухни. Отец ненавидел их. Каждую ночь, выходя на тщетную и нескончаемую охоту, он бродил по дому — фонарик в одной руке, шлепанец в другой. Он был уверен, что тараканы являлись причиной многих заболеваний, в том числе и рака. Помню, как он говорил: «Хорошенько вычищайте грязь из-под ногтей на ногах, иначе тараканы придут ночью, чтобы их погрызть!»

Для нас же, детей, это были просто насекомые, как любые другие. Мы тоже охотились на них и ловили, но чтобы тут же дать им свободу где-нибудь поближе к родительской комнате.

Тараканы были жирнющими, красно-коричневыми, с ярким блеском. Некоторые летали — хотя и тяжеловато, с трудом.

Вскоре мы отыскали себе новых товарищей для игр: скорпионов. Их, правда, было меньше, чем тараканов, но у нас всегда имелся необходимый запас. Отец, не переносивший нашей шумной возни, соорудил под крышей веранды, в наиболее удаленной стороне от его спальни, две трапеции из обрывков каната и старых рукояток от инструментов. Применение трапециям нами было найдено для необычного упражнения: зацепившись ногами за перекладину и свесив голову вниз, мы осторожно поднимали соломенный коврик, который отец положил, дабы смягчить возможное падение, и наблюдали, как скорпионы замирают в оборонительной позе, подняв вверх клешни и хвост с грушевидным полным яда членником на конце. Скорпионы, которые обитали под ковриком, обычно были маленькими, черными и, скорее всего, безобидными. Но время от времени по утрам их сменял более крупный экземпляр белого цвета с желтоватым отливом, и чутье нам подсказывало, что эта разновидность могла быть ядовитой. Игра состояла в том, чтобы с высоты трапеции дразнить скорпионов травин-

кой или веточкой и смотреть, как они вертятся, словно под действием магнита, вокруг руки, которая на них нападала. Само наше «оружие» они никогда не пытались ужалить. Их злобные глазки прекрасно различали, предмет это или рука, которая его держит. Для придания игре большей остроты нужно было время от времени отпускать веточку и протягивать руку, а затем быстро отдергивать ее точно в тот момент, когда скорпион хлестал по ней хвостом.

Сейчас мне уже трудно отчетливо вспомнить, какие чувства владели нами тогда. Мне кажется, что в этом ритуале с трапецией было что-то почтительное по отношению к скорпионам, и почтение это, очевидно, подпитывалось страхом. Как и муравьи, скорпионы были настоящими хозяевами этих мест, а мы — только нежелательными, хотя и неизбежными жильцами, которым самое лучшее было бы убраться восвояси. Одним словом, поселенцами.

Именно вокруг скорпионов разыгралась однажды драматическая сцена, воспоминания о которой и сегодня вызывают у меня сердцебиение. Как-то отец (должно быть, в воскресенье утром, поскольку он был дома) обнаружил в шкафу скорпиона «белой» разновидности. Ес-

ли точнее, это была самка, на спине которой разместилось ее потомство. Он без труда мог бы ее раздавить шлепанцем, однако не сделал этого. Взяв в аптечке пузырек с чистым спиртом, он обрызгал скорпиониху и чиркнул спичкой. По какой причине, не знаю, пламя сначала вспыхнуло вокруг самки, образуя круг голубого цвета, а она замерла в трагической позе, воздев клешни к небу; ее «перебинтованное» тельце перекинуло свой яд в желёзку на кончике хвоста, поместив его точно над детьми, что было нам прекрасно видно. Вторая струйка спирта — и скорпиониха мгновенно вспыхнула. Все длилось не больше нескольких секунд, тем не менее мне казалось, что я долго наблюдал за ее гибелью. Самка несколько раз повернулась вокруг своей оси, хвост ее слегка подрагивал. Детеныши были уже мертвы и, скорчившиеся, сыпались с ее спины. Затем она внезапно остановилась, сложила клешни на груди в смиренном жесте, и огонь сразу стих.



Фот. 6. Бансо

Каждой ночью, словно мир фауны пытался нам отомстить, дом наш атаковали мириады летающих насекомых. Иногда перед дождем их приносило целые полчища. Отец закрывал двери и ставни (форточек у немногочисленных окон не было вовсе), развешивал противомоскитные сетки над кроватями и гамаками. Печальный итог этой войны был предрешен. В столовой мы старались побыстрее разделаться с арахисовым супом и нырнуть в спасительное убежище сеток.

Насекомые прибывали волнами, мы слышали, как они штурмуют ставни, привлеченные светом керосиновой лампы. Они проникали внутрь через промежутки ставен, в щели под дверями, безумно кружились по комнате, роились вокруг лампы и сгорали, ударяясь о стекло. На стенах, куда падал отраженный свет, попискивали ящерки, каждый раз, когда им удавалось захватить добычу. Не знаю почему, но мне кажется, что нигде в другом месте я не чувствовал себя до такой степени принадлежащим к семье, «членом ячейки». После жарких дневных часов и беготни по травяному морю, после гроз и молний душная комната становилась для меня каютой корабля, укрытого от ночи, в то время как снаружи бесчинствовал тонкокрылый мир. Там я действительно был в безопасности, точно в чреве пещеры. Запахи арахисового супа, фуфу, маниокового хлеба, голос отца с певучими интонациями, рассказывавшего, что произошло за день в клинике, и это ощущение опасности, подступающей извне, эта невидимая армия ночных бабочек, бьющихся о ставни, возбужденные ящерицы, теплая, напряженная ночь, не ночь отдыха и забвения, как прежде, а какая-то лихорадочная, будоражащая ночь. И вкус хинина во рту, крохотная и чрезвы-

чайно горькая таблетка, которую нужно было проглотить, запивая стаканом теплой воды, пропущенной через фильтр, непременная таблетка перед сном, чтобы не заболеть малярией. Да, я считаю, что нигде и никогда не испытывал я столь пронзительных моментов близости, чего-то семейно-привычного. Как же все это было далеко от столовой моей бабушки, от покойной роскоши старых кожаных кресел, от навевающих сон разговоров и дымящейся супницы, украшенной рождественской гирляндой из листьев падуба, в тихой и далекой ночи города.

Африканец

В Африку мой отец прибыл в 1928 году, после двух лет, проведенных в Британской Гвиане в качестве разъездного врача, курировавшего селения, расположенные по берегам рек. Вернулся он оттуда в начале пятидесятых, когда военное начальство сочло, что он давно превысил пенсионный возраст и служить дольше не может. Больше двадцати лет он прожил в этой глухомани (слово, бывшее тогда в ходу и полностью исчезнувшее из оборота сегодня), будучи единственным врачом на огромных территориях, равных по площади целым странам, где он отвечал за здоровье тысяч людей.

Впервые встретившись с ним в 1948 году — мне тогда было восемь лет, — я увидел перед собой преждевременно состарившегося в тропическом климате, изношенного мужчину, раздражительного из-за теофиллина, который он был вынужден принимать от астмы, желчного по причине одиночества, в котором он провел все военные годы: отрезанный от мира и не получавший вестей о своей семье, отец не мог оставить

свой пост, чтобы прийти на помощь жене и детям или даже просто отослать им деньги.

Самым большим доказательством его любви к близким явилось то, что во время войны он пересек пустыню до самого Алжира, пытаясь воссоединиться с женой и детьми, чтобы увезти их в безопасное место на территории Африки. Но прежде чем он добрался до столицы Алжира, его арестовали, и ему пришлось вернуться в Нигерию. Лишь в конце войны отцу удалось увидеться с женой и познакомиться с детьми, но этот визит был столь краток, что я не сохранил о нем никаких воспоминаний. Долгие годы оторванности от семьи и молчания, в течение которых он продолжал исполнять свой долг врача в экстремальных условиях, без лекарств, без оборудования, в то время как во всем мире люди продолжали убивать друг друга, — это наверняка было не просто тяжело, а невыносимо, это доводило до отчаяния. Отец никогда об этом не говорил. Никогда не давал понять, что в его служении было что-то исключительное. Об этом периоде я знал только по рассказам мамы, которая порой со вздохом роняла: «Годы войны, когда мы были так далеко друг от друга, как же это было тяжело…» Да и говорила-то она скорее о себе. О своей тревоге,

тревоге женщины, оказавшейся в военное время одной, без средств, с двумя маленькими детьми. Думаю, для многих француженок это было трудное время, особенно для тех, чей муж находился в немецком плену или пропал без вести. По этой причине та ужасная эпоха казалась мне почти нормальной. Мужчин вокруг меня не было, были одни женщины или очень пожилые люди. Только гораздо позже, когда выветрился свойственный детям природный эгоизм, я понял: мать, живя вдали от отца, в то тяжелое время проявляла самый настоящий героизм, обыденный, без громких слов, и не от недопонимания чего-либо или смирения (хотя вера, несомненно, служила ей большой поддержкой), а от того, что ей послана была сила, порожденная неслыханной бесчеловечностью войны.

Война ли, бесконечное ли молчание сделали моего отца тем пессимистичным, сумрачным, авторитарным человеком, которого мы научились скорее бояться, чем любить? А может, Африка? В таком случае какая именно Африка? Конечно же, не та Африка, которую мы сегодня знаем из литературы или кино, шумная, хаотичная, детски-наивная, бесцеремонная, с деревушками, где всем заправляют матроны и сказители, где

каждое мгновение жизни проявляет себя поразительной волей к выживанию в условиях, которые показались бы немыслимыми обитателям более благополучных регионов. Такая Африка, без сомнения, существовала и до войны. Я представлял Дуалу, Порт-Харкорт, загроможденные повозками улицы, рынки, по которым слоняются блестящие от пота дети, группки женщин, болтавших в тени деревьев. Крупные города, такие как Онича, с ее рынком, описанным в популярных романах, и гулом пароходов, сплавляющих лес по великой реке, Лагос, Ибадан, Котону. Типичные для колоний смешение жанров, народов, языков, элита, изображаемая карикатурно, с тайным смешком: дельцы в костюмах и при шляпах, с безупречно свернутыми черными зонтами, душные салоны с англичанками в декольте, выставляющими себя напоказ, террасы клубов, где агенты банков «Ллойдс», «Глинн, Миллз» и «Барклайс», попыхивая сигарами, обсуждают погоду — old chap, this is a tough country, — пока снующие безмолвными тенями слуги во фраках и белых перчатках разносят им коктейли на серебряных подносах.

Однажды отец мне рассказал, как он решил отправиться на край света после окончания медицинского института при лондонском госпи-

тале Святого Иосифа, расположенном в районе Элефант-энд-Кастл. В качестве правительственного стипендиата он должен был отработать положенный ему срок во благо Содружества. Назначение он получил в отделение тропических болезней клиники Саутгемптона. Отец сел в поезд, вышел в Саутгемптоне и устроился в пансионе. К служебным обязанностям он должен был приступить только через три дня и потому бродил по городу, спускался в порт и наблюдал, как отправлялись в рейс морские суда. Как-то по возвращении в пансион его ждало письмо, вернее сухая записка, где главврачом клиники было начертано всего несколько слов: «Сэр, я до сих пор не получил вашей визитной карточки». Отец тогда немедленно заказал визитку (у меня до сих пор хранится один экземпляр), где было только имя — ни адреса, ни должности. А потом попросил нового назначения — в Министерстве по делам колоний. Через несколько дней он уже садился на корабль, следовавший до Джорджтауна, Гвиана. За исключением двух коротких отпусков — первый для женитьбы, а второй в связи с рождением детей, в Европу он уже не вернулся до конца трудовой жизни.

Я пытался представить, как могла сложить-

ся его жизнь (а следовательно, и моя), если бы вместо того чтобы сбежать, он принял как должное авторитарное поведение главврача саутгемптонской клиники, поселился где-нибудь в лондонском предместье (как это сделал мой дед в пригороде Парижа), в Ричмонде, например, или даже в Шотландии (стране, которую он всегда любил). Я говорю не о том, как это сказалось бы на его детях (их рождение в том или ином месте, по сути, не имеет особого значения), а о том, какие изменения могли произойти в этом человеке, веди он жизнь более гармоничную, менее одинокую. Если бы ему пришлось лечить насморки и запоры, а не иметь дело с прокаженными, больными малярией или сонной болезнью. Да и с пациентами удалось бы общаться не варварски — с помощью жестов, переводчика или на примитивном пиджине (не имевшим ничего общего с утонченным и остроумным креольским Маврикия), — просто общаться, в повседневной жизни, которая сблизила бы его с ними, дала ему возможность почувствовать себя «своим», полноценным членом общества, городка, квартала.

Отец выбрал иной путь. Из гордости, разумеется, в первую очередь, чтобы уйти от пороков английского общества, но из-за тяги к приклю-

чениям тоже. За второе пришлось платить. Он оказался в другом мире, прибитым к другим берегам жизни, ему пришлось стать изгнанником во время войны, потерять жену и детей и в некотором роде сделаться неизбежным «посторонним».

Когда я впервые увидел отца в Огодже, мне показалось, что он носит пенсне. Почему это пришло мне в голову? В ту эпоху пенсне давно вышли из употребления. Возможно, в Ницце несколько стариков сохранили от былых времен этот аксессуар, который, как я полагал, идеально подходил русским офицерам императорской армии, с усами и бакенбардами, либо горе-изобретателям, посещавшим моих «тетушек». Откуда взялось бы у него пенсне? На самом деле, скорее всего, отец носил очки по моде тридцатых годов, в тонкой стальной оправе и с круглыми зеркальными стеклами. Похожие я видел на портретах мужчин его поколения, Луи Жуве или Джеймса Джойса (с последним у него определенно имелось сходство). Нет, простой пары очков было бы недостаточно для образа, сохранившегося во мне от нашей первой встречи, — от странности, жесткости его взгляда, что усугубляли две вертикальные морщинки между бровей. Эта подчеркнутая «английскость» или лучше «бри-

танскость» отца, крайняя строгость его одежды, подобной доспехам, в которые он раз и навсегда заковал свое тело.

Мне кажется, что в первые часы после нашего прибытия в Нигерию, во время долгого переезда от Порт-Харкорта до Огоджи под проливным дождем в гигантском футуристическом «форде V-8», не походившем ни на один известный мне автомобиль, поразила меня вовсе не Африка, а знакомство с этим неведомым отцом — странным, возможно, даже опасным. Награждая его пенсне, память моя воспроизводит то, что я тогда чувствовал. Разве мог бы мой отец, мой настоящий отец носить пенсне?

Властность его тут же вошла в конфликт с моей личностью. Мы привыкли, я и брат, жить в анархическом раю, незнакомом или почти незнакомом с дисциплиной. Если речь и шла о проявлении строгости со стороны старших, то исходило оно только от бабушки, благодушной и утонченной старой дамы, ярой противницы любых телесных наказаний и предпочитавшей воздействовать на детей исключительно разумом и мягкостью. Мой дед по материнской линии в период его «маврикийской» юности, возможно, и был приобщен к строгим правилам, однако к

тому времени преклонный возраст, любовь его к бабушке и та досадная дистанция, которую вынуждены соблюдать в общении с детьми заядлые курильщики, привели его к полной изоляции, так что он даже закрывался на ключ, чтобы спокойно покурить свою махорку.



Фот. 7. Высадка в Аккре (Гана)

В нашей маме таилась бездна фантазии и обаяния. Мы ее любили, и я думаю, наши глупости вызывали у нее только смех. Я не помню, чтобы

она когда-либо повышала на нас голос. Потому у нас была полная возможность установить в нашей маленькой квартире настоящий детский террор. Во времена, предшествовавшие отъезду в Африку, мы творили такое, что теперь, оглядываясь назад, мне эти проделки кажутся ужасными: однажды, вдохновленный на подвиг братом, я залез вместе с ним на ограду балкона (я все еще вижу эту ограду, она была значительно выше моего роста), чтобы добраться до водосточного желоба, откуда открывался превосходный вид на наш квартал с высоты седьмого этажа. Думаю, бабушка с дедушкой и мама были так напуганы, что, когда мы согласились слезть, они вообще забыли нас наказать.

Помню я и то, как порой мной овладевали приступы слепой ярости, если мне в чем-то отказывали: в конфете или игрушке, короче, причины были столь малозначительны, что я не помню ни одной, — ярости настолько сильной, что я выбрасывал в окно все, что попадало мне под руку, вплоть до предметов мебели. В такие моменты ничто и никто не могли меня успокоить. Я и сейчас иногда вспоминаю ощущения, связанные со вспышками гнева, которые могу сравнить разве что с опьянением эфиром (которым давали

дышать детям, удаляя у них миндалины). Потеря контроля над собой, впечатление, что все вокруг тебя плывет, и в то же время полная ясность сознания. В то время я к тому же страдал от сильных головных болей, иногда настолько невыносимых, что мне приходилось залезать под стол, прячась от света. Какова была причина, их вызывающая? Сейчас мне кажется, что единственным объяснением был весь тот ужас, что мы пережили за годы войны. Замкнутое, мрачное, полностью лишенное надежды существование. Ужасная еда — этот черный хлеб, о котором говорили, что он смешан с опилками, и который чуть не стал причиной моей смерти в трехлетнем возрасте. Бомбардировка порта Ниццы, когда я бросился ничком на пол в бабушкиной ванной, и незабываемое ощущение, что земля уходит у тебя из-под ног. Или еще: нарыв на ноге бабушки, осложнившийся от плохого питания и отсутствия лекарств; мы в горной деревушке, где мама вынуждена прятаться из-за отца, находившегося в британской армии, и боязни высылки из страны. Мы стоим в очереди перед продуктовым магазином, и я смотрю на мух, садящихся на открытую рану бабушкиной ноги.



Фот. 8. Ахаггар (Алжир)

Поездка в Африку всему положила конец. Вот, например, одна из радикальных перемен в моей жизни: по велению отца, перед отъездом мне предписывалось подстричь волосы, которые до того времени я носил длинными, как у «маленького бретонца», что впоследствии при-

вело к сильнейшему солнечному ожогу ушей — побочному фактору обретения мной мужской наружности. Зато никогда больше не терпел я мучительных мигреней, никогда уже не мог дать волю детскому гневу. Прибыв в Африку, я будто вошел в прихожую взрослого мира.

От Джорджтауна до Виктории

В тридцатилетнем возрасте отец покинул Саутгемптон на борту грузо-пассажирского судна, следовавшего до Джорджтауна, Британская Гвиана. На редких фотографиях отца того времени можно увидеть крепко сбитого, со спортивной фигурой мужчину, очень элегантно одетого: пиджачная пара, сорочка с жестким воротничком, жилет, галстук и черные кожаные ботинки. К тому времени минуло уже восемь лет, как он уехал с Маврикия, после изгнания его семьи из родного дома в тот роковой день 1919 года. В небольшом блокноте, где он запечатлел события последних, проведенных в Моке дней, отец писал: «Сейчас у меня есть только одно желание — убраться как можно дальше отсюда и никогда не возвращаться». Гвиана оказалась по отношению к Маврикию его «страной антиподов», поскольку находилась на противоположном конце света.

Действительно ли драма в Моке стала причиной его отъезда? Безусловно, в тот фатальный момент им овладела непоколебимая решимость, которая, впрочем, всегда была ему свойственна.

Он не мог быть таким, как другие. Не мог просто забыть. Отец почти не говорил о событии, которое привело к рассеянию его близких. Разве что изредка, давая выход накопившемуся гневу.

В течение семи лет отец учился в Лондоне, сначала в инженерной школе, а затем в медицинском институте. Поскольку семья отца была разорена, он мог рассчитывать только на государственную стипендию. Он не мог позволить себе потерпеть неудачу. В качестве специальности отец избрал тропическую медицину. Уже тогда он понимал, что из-за отсутствия средств открыть частную практику ему не удастся. Потому эпизод с визитной карточкой, которую потребовал у него главврач саутгемптонской клиники, был лишь предлогом для его разрыва с европейским обществом.

Единственной радостью в тогдашней отцовской жизни были его посещения дяди в Париже, а также страсть, которую он испытывал к своей двоюродной сестре, моей матери. Каникулы, проведенные вместе с ними во Франции, стали для него иллюзорным возвращением в прошлое, которого больше не существовало. Отец родился в том же доме, что и дядя, там они — каждый в свое время — выросли, им были известны одни и те

же места, тайны, укромные уголки, они купались в одной и той же речушке. Мама на Маврикии не жила (она родилась в Милли), но часто слышала о той жизни от своего отца, это было частью и ее прошлого, и для нее имело вкус недостижимой и близкой мечты (потому что в это время Маврикий был уже настолько далек, что о нем можно было только мечтать). Отца и маму эта мечта объединяла, они были нерасторжимы, словно два изгнанника из навеки потерянной страны.

Это все не так уж важно. Раз отец решил уехать, он уехал. Министерство по делам колоний назначило его на должность разъездного врача по рекам Гвианы. Сразу по прибытии туда он обзавелся пирогой с крышей из пальмовых листьев и мощным фордовским мотором. На борту этой пироги в составе своей медкоманды — фельдшеров, гребца, проводника и переводчика он совершал длительные путешествия по большим рекам — Мазаруни, Эссекибо, Купурунг, Демерара.

Отец много фотографировал. Черно-белые снимки, сделанные «лейкой-гармошкой», красноречивее слов свидетельствуют о его полной оторванности, о его беспредельном восхищении красотой нового мира. Сама по себе тропическая природа не стала для него откровением. На Мав-

рикии протекавшая по ущельям и под мостом Моки река Красная Земля почти не отличалась от верховий здешних рек. Но эта новая страна была огромна, она еще не вполне принадлежала людям. Сквозь фотографии отца проступало одиночество, потерянность, ощущение того, что он пристал к самому дальнему берегу мира. С пристани Бербиса он снимал мутно-коричневую гладь воды, пирогу, скользившую по ней мимо рифленых крыш деревушки с чахлыми деревцами. Фотографировал он и свой дом — что-то вроде деревянного шале на сваях, — стоящий на краю пустынной дороги, подпираемой единственной нелепой пальмой. Или еще: снимки Джорджтауна — безмолвного, сморенного жарой, с белыми домиками, заслоненными от солнца ставнями, и все теми же пальмами — навязчивым символом тропиков.

Больше всего отец любил снимать континент изнутри: неслыханную силу быстрин, которые приходилось преодолевать пироге, лавируя между валунами и скалами, откуда каскадами падала вниз вода меж мрачными стенами лесистых берегов. Фотографировал он водопады Кабури на Мазаруни, больницу в Камакусе, деревянные постройки по берегам рек, лавчонки добытчиков

алмазов. А то вдруг запечатлевал полный штиль на одном из рукавов Мазаруни: искрящееся, безупречно гладкое зеркало воды, навевающее сладкий сон. На другом снимке неожиданно возникал киль пироги, спускавшейся вниз по течению реки. Смотришь на нее и ощущаешь дуновение ветра, запах воды, слышишь, несмотря на шум мотора, монотонную трескотню насекомых в лесу, и тобой овладевает чувство смутной тревоги от скорого приближения сумерек. Была им «увековечена» и погрузка подъемником сахара «демерара» в устье той же реки Демерары на борт проржавевшего торгового судна. Или вдруг видишь кромку пляжа, куда приходят умирать корабельные волны, — там стоят и смотрят на тебя два индейских ребенка: мальчик лет шести и его сестра, немногим старше. Оба — с раздутыми от паразитоза животами и очень темными волосами, с челкой до бровей, подстриженными «под горшок», как когда-то и у меня в их возрасте. От своего пребывания в Гвиане отец сохранит в памяти немногое: воспоминания об этих индейских ребятишках, стоявших на берегу реки и глядевших на него, слегка щурясь от солнца. Да еще образ этого дикого края вдоль русел больших рек, мимоходом схваченный на фотографиях. То

был таинственный и хрупкий мир, где царили болезни, страх, насилие, чинимое старателями и искателями сокровищ, где звучала песнь отчаяния исчезающего индейского мира. Интересно, что стало с этими мальчиком и девочкой, если они еще живы? Теперь они должны уже быть глубокими стариками, подходящими к концу своего существования.

Позже, спустя долгое время, я отправился по следам отца в страну индейцев, обитавших по берегам больших рек. И видел детей, подобных тем, что остались на фотографиях. Несомненно, с тех пор мир сильно изменился: реки и леса стали менее чистыми, чем были в дни молодости моего отца. Тем не менее мне показалось, что я ощутил ту же жажду приключений, что и отец, когда он высаживался в порту Джорджтауна. Я, как и он, купил себе пирогу, так же путешествовал, стоя на носу, растопырив пальцы ног для большей устойчивости и балансируя длинным багром; так же наблюдал, как передо мной вспархивают вверх бакланы; слушал завывание ветра в ушах и раздававшиеся сзади отголоски шума подвесного мотора, поглощенного лесной толщей. Изучив хорошенько фотографию передней части пироги, сделанную отцом, я сразу узнал узкую и слегка

прямоугольную носовую оконечность, шварто-вочный канат, свернутый и уложенный поперек корпуса, чтобы время от времени служить в каче-стве скамьи, и «каналет» — индейское короткое весло с треугольной лопастью. А там, впереди, в самом конце длинной речной «улицы» смыка-лись передо мной две черные стены леса.

Когда я вернулся из индейских краев, отец был уже очень болен, он окончательно замкнулся в упрямом безмолвии. Помню, как в глазах его вспыхнули искорки, когда я рассказал, что го-ворил о нем с индейцами, и те приглашали его вернуться к ним, на реки, что в обмен на его знания и лекарства они готовы предоставить ему дом и пищу на тот срок, который он пожелает. По губам отца пробежала легкая улыбка, и, кажется, он сказал: «Лет десять назад, возможно, я бы и согласился». Теперь и правда было слишком позд-но. Время никогда не течет вспять, даже во сне.

Гвиана подготовила отца к Африке. После вре-мени, проведенного на больших реках, он не мог вернуться в Европу, не говоря уже о Маврикии — этом крошечном уголке, где ему было бы неуютно в тесном кругу эгоистичных и тщеславных лю-дей. Вскоре на территории Западной Африки, на узкой полоске земли, отобранной у Германии

после Первой мировой войны и включавшей восточную часть Нигерии и западную часть Камеруна, переданной под английское управление, была открыта вакансия на должность врача. Отец вызвался ехать добровольцем. В начале 1928 года он сел на пароход, огибавший африканское побережье, и высадился в порту Виктория, в бухте залива Биафра.

Это было то же самое путешествие, которое я совершил двадцать лет спустя с мамой и братом после войны, чтобы воссоединиться со своим отцом в Нигерии. Но тогда отец не был, подобно мне, ребенком, подхваченным вихрем событий. В ту пору он достиг возраста тридцати двух лет, это был человек, закаленный двумя годами медицинской практики в Экваториальной Америке, он не понаслышке знал, что такое болезнь и смерть, сталкиваясь с ними ежедневно, в чрезвычайно сложных ситуациях, без какой-либо поддержки извне. Эжен, брат отца, служивший до него врачом в Африке, определенно должен был его предупредить, что он отправляется в «тяжелую» страну. Нигерия, безусловно, была отчасти «усмирена» введенными туда британскими войсками. Но это был регион, где война велась непрерывно: война между людьми, война против нищеты,

жестокого обращения и коррупции, унаследованных от колониализма, и особенно «микробная» война. В Калабаре, как и в Камеруне, главными врагами были уже вовсе не Аро-Чуку и его оракул, не вооруженные формирования фулани с их «длинными карабинами» из Аравии. Новые враги звались квашиоркор, холерный вибрион, солитер, шистосома, оспа, амебная дизентерия. Перед лицом этих врагов сумка с медикаментами отца явно была чересчур легкой. Скальпель, хирургические зажимы, трепан, стетоскоп, жгуты и ряд основных инструментов, включая латунный шприц, которым он позже впрыскивал мне вакцины. Антибиотиков, кортизона тогда еще не было. Сульфаниламиды считались большой редкостью, существующие порошки и мази больше напоминали колдовские зелья. Вакцины поступали в слишком малом количестве, чтобы успешно бороться с эпидемиями. А территория, на которой приходилось сражаться со всеми этими болезнями, была огромна. По сравнению с тем, что его ждало в Африке, путешествия по рекам Гвианы могли показаться отцу приятными прогулками. На африканском Западе он останется на долгие двадцать два года, пока не исчерпает все силы. Здесь он познает континент во всей

его полноте, от восторга первого впечатления, открытия для себя великих рек — Нигера и Бенуэ — до разнообразия природы Камерунского нагорья. Он разделит и любовь, и эту полную приключений жизнь с женой, путешествуя с ней верхом по горным тропам. Затем придут одиночество и тоска военного периода, до полной изношенности, до горечи последних мгновений, когда у него возникнет чувство, что он прожил больше, чем одну жизнь.

Все это я осознал гораздо позже, отправившись, как и он, в пределы другого мира. Я понял это не по тем немногим вещицам — маскам, статуэткам, предметам мебели, которые он вывез из страны ибо и камерунских саванн. И даже не по фотографиям, сделанным отцом в первые годы после приезда в Африку. Узнал я об этом, когда научился открывать для себя заново, «перечитывать», предметы его повседневной жизни, с которыми он не расставался даже после выхода в отставку и переезда во Францию: чашки, сине-белые эмалированные тарелки, сделанные в Швеции, алюминиевые столовые приборы, которыми он пользовался все эти годы, складные миски, служившие ему во время переходов и ночевок в хижинах-времянках. Так же и многие другие

предметы обихода — с особыми отметинами, облупившиеся от дорожной тряски, со следами ливневых дождей, обесцвеченные тропическим солнцем, предметы, от которых он нипочем не желал отказываться, ибо в его глазах они были гораздо ценнее, чем любые безделушки или сувениры с «местным колоритом». Деревянные, обитые железными скобами, сундуки отца, чьи петли и замки он не раз перекрашивал, на которых все еще можно было разобрать адрес пункта назначения: General Hospital, Victoria, Cameroons. Помимо этого багажа, достойного путешественника времен Киплинга и Жюля Верна, имелась еще целая коллекция баночек с ваксой, лепешек черного мыла, керосиновых ламп, спиртовок и тех больших жестяных банок из-под печенья «Мари», в которых он до конца жизни хранил чай и сахарную пудру. Хирургические инструменты, кстати, тоже: во Франции он их использовал для приготовления пищи: скальпель служил для разделки курицы, а длинный зажим — для сервировки. И, наконец, мебель: вовсе не те знаменитые табуреты и троны из цельного куска дерева — образцы негритянского искусства. Отец предпочитал им старое складное кресло из холста и бамбука, пронесенное им от одной стоянки до

другой по всем горным тропинкам, и маленький столик со столешницей из ротанга, используемый в качестве подставки для радиоприемника, по которому он до конца дней слушал каждый вечер семичасовой выпуск новостей Би-би-си: «Трам-бам-бам! Британская вещательная корпорация! В эфире последние новости!»

Словно он никогда и не покидал Африки. Вернувшись во Францию, отец не изменил распорядка: поднявшись в шесть утра, он надевал неизменные полотняные брюки цвета хаки и в начищенных башмаках и шляпе отправлялся на рынок за покупками, точно так же, как когда-то шел на обход в больницу. В восемь он возвращался домой, чтобы заняться готовкой с той же хирургической тщательностью, что и раньше, когда оперировал. Он полностью сохранил привычки бывшего военного, привычки человека, прошедшего врачебную практику в дальних странах, — умение равно хорошо владеть обеими руками, способность прооперировать себя самого с помощью зеркала или зашить собственную грыжу. Этот человек с мозолистыми руками хирурга, способный одинаково ловко распилить кость, наложить шину, вправить сустав или срастить кость при переломе, отныне использовал

свои энергию и знания для решения ничтожных и неблагодарных задач, от которых отказывается большинство отставников. С неизменной старательностью он мыл посуду, подклеивал напольную плитку в квартире, стирал белье, чинил носки, мастерил из деревяшек скамейки и полки. Африка словно поставила на нем клеймо, чьи контуры слились со следами, оставленными спартанским воспитанием в его семье на Маврикии. Европейская одежда, которую он надевал по утрам, идя на рынок, ложилась на его плечи тяжким грузом. Сразу же по возвращении домой он облачался в широкий синий балахон, наподобие туник, что носят хауса в Камеруне, и уже не расставался с ним до самого сна. Таким я вижу отца в конце его пути. Не искателем приключений или несгибаемым военным. Просто стариком, лишенным родины, изгнанным из его жизни и его страсти — человеком, пережившим самого себя.

Для отца Африка началась с прибытия в Аккру, столицу Золотого Берега. Типичнейшая для колонии картина: европейские путешественники в белом, в пробковых шлемах, высаживаются с парохода в подвесную корзину — люльку — и достигают берега в пироге, управляемой чернокожими. Здешняя Африка пока мало чем могла

поразить: эта узкая полоска земли, тянувшаяся вдоль атлантического побережья от мыса Альмади до Гвинейского залива, была хорошо знакома всем, кто прибывал из метрополии, чтобы наладить бизнес и поскорее обогатиться. Привилегированное общество, которое менее чем за полвека создало сложную архитектуру из каст, резерваций, запретов, привилегий, злоупотреблений и барышей. Состояло оно из банкиров, коммерческих агентов, гражданских или военных администраторов, судей, полицейских и жандармов. Вокруг этих людей в крупных портовых городах — Ломе, Котону, Лагосе, — как и в гвианском Джорджтауне, образовалась «чистая», роскошно обустроенная территория с безупречными газонами и полями для гольфа, с дворцами «под мрамор» или из ценных пород дерева, посреди обширных пальмовых рощ либо на берегу искусственного озера, таких, например, как хоромы директора медицинской службы в Лагосе. Чуть дальше простиралась зона «жертв колонизации», это тоже было общество с довольно сложной структурой, которое так хорошо описал Редьярд Киплинг, говоря об Индии, и Райдер Хаггард, повествуя о Восточной Африке. Это так называемый местный персонал,

эластичная прослойка, промежуточное звено: секретари, рассыльные, привратники, домашняя прислуга (должностей больше чем достаточно!), одетый почти по-европейски, в черных штиблетах и с черными зонтами. И, наконец, снаружи — огромный океан африканцев, которые знакомы с европейцами только по их приказам и почти нереальному облику роскошного черного автомобиля, катящего на полной скорости в облаке пыли и оглашающего гудками их жалкие кварталы и деревушки.

Именно этот образ Африки ненавидел мой отец. Расставшийся с Маврикием и его колониальным прошлым, он возмущался плантаторами и их высокомерием. Бежавший от конформизма английского общества, оценивавшего человека по визитной карточке, отец, у которого позади были долгие путешествия по буйным рекам Гвианы, который перевязывал, сшивал, выхаживал как старателей, так и полуголодных индейцев, не мог не испытывать тошноты от колониального мира и его вопиющей несправедливости, от коктейльных вечеринок, от игроков в гольф при полной форме, от обилия их прислуги, от их любовниц — пятнадцатилетних чернокожих проституток, вводимых через служебный вход, и

от их официальных жен, изнывающих от жары и выплескивающих раздражение на слуг из-за перчаток, непротертой пыли или разбитой посуды.

Говорил он когда-нибудь об этом? Откуда взялось у меня это инстинктивное отвращение к колониальной системе, преследовавшее меня с самого детства? Наверняка я время от времени подхватывал на лету какое-нибудь словцо или суждение о смешных сторонах поведения и образа жизни тамошних управленцев, таких, например, как глава округа Абакалики, куда отец иногда брал меня с собой, живший в окружении своры пекинесов, которых кормили исключительно говяжьей вырезкой и кексами, орошаемыми минеральной водой. Или на меня повлияли его рассказы о высокопоставленных белых путешественниках, вооруженных винтовками с оптическим прицелом и разрывными пулями, являвшихся в сопровождении целого конвоя для охоты на львов и слонов. Встречая отца на этих пустынных землях, они принимали его за организатора сафари и спрашивали, много ли здесь диких зверей, на что отец неизменно отвечал: «За двадцать лет пребывания здесь я не видел ни одного, если вы, конечно, не имеете в виду змей или стервятников». А может, память

о том, как окружной комиссар Обуду, области на границе с Камеруном, развлекался тем, что заставлял меня трогать черепа убитых им горилл и, показывая на холмы за домом, утверждал, что вечером мы услышим оттуда громкую канонаду пукающих гигантских обезьян, которые вызывали эти звуки, ударяя себя по груди. Но самым главным была, конечно, постоянно преследовавшая меня картина, которая очень отчетливо сохранилась в моей памяти: вереница закованных в цепи черных заключенных, медленно и ритмично шагавших по дороге, ведущей к бассейну Абакалики, в сопровождении вооруженных винтовками полицейских.

Не исключено, что на меня оказал влияние и мамин взгляд на этот континент — одновременно и такой новый, и уже достаточно настрадавшийся от старого мира. Я точно не помню, что она говорила брату и мне, когда рассказывала о стране, где раньше жила с отцом и где однажды мы обязательно должны были с ним воссоединиться. Знаю только, что, когда мама решила выйти замуж за отца и жить с ним в Камеруне, ее парижские подруги недоумевали: «Как, ты отправляешься к дикарям?», и она, после всего, что рассказывал ей об Африке отец, ответила:

«Они ничуть не больше дикари, чем парижане!»

После Лагоса были города Оверри и Або, что неподалеку от истока Нигера. Теперь отец заметно удалился от «цивилизованной» зоны. Взору его открылась Экваториальная Африка, описанная Андре Жидом в его «Путешествии в Конго» (которое писатель совершил примерно в то же время, когда отец прибыл в Нигерию): огромная протяженность Нигера, безбрежного, как морской залив, с плывущими по нему пирогами и колесными пароходами, его многочисленные рукава, река Аоада с характерными для нее сампанами, крытыми пальмовыми листьями и управляемыми шестами, а ближе к побережью — река Калабар, рядом с которой виднеется полукруглая просека деревни Обукун, прорубленной одними мачете прямо в стене леса. Таковы были первые зрительные впечатления отца о стране, в которой ему предстояло провести бóльшую часть сознательной жизни и которая, в силу необходимости и обстоятельств, станет для него настоящей родиной.



Фот. 9. Виктория (ныне — Лембе)

Воображаю восторг отца, когда его нога ступила на Землю Виктории после трехнедельного плавания. Среди снимков, сделанных им в Африке, есть один, по-особенному меня волнующий, — именно его отец выбрал, чтобы увеличить и сделать картину. Фотография на удивление тонко передает его тогдашнее настроение: он в самом начале пути, у порога Африки, на лоне первобытной, нетронутой человеком природы. На снимке изображено устье реки — место, где пресная вода

смешивается с морской, соленой. Излучина бухты Виктория заканчивается мысом, на котором несколько пальм клонятся на ветру, дующем со стороны моря. Накатывая на черные валуны и обломки скал, море тихо отползает умирать на песчаный берег. Разносимая ветром водяная пыль легкой дымкой покрывает деревья леса, смешиваясь с испарениями болот и реки. Но, несмотря на мирный вид пляжа и пальм, есть в этой картине какое-то первобытное буйство, есть тайна. На переднем плане, неподалеку от берега, стоит белая хижина, в которой жил отец сразу по прибытии в Африку. Вовсе не случайно, говоря о своих африканских времянках, отец всегда употреблял очень «маврикийское» слово «лагерь». Если этот пейзаж его настолько пленил, если он и мое сердце сегодня заставляет биться чаще, то не от того ли, что он вполне мог находиться где-нибудь на Маврикии, в Тамаринской бухте, например, или на мысе Несчастных, куда отец в детстве ходил на экскурсии? Не поверил ли отец, когда там оказался, что сможет отчасти вернуть утраченную невинность, вновь обрести память об острове, который жизненные обстоятельства вырвали из его сердца? Разве мог он об этом не подумать? Та же красная земля, то же небо, тот

же ветер, постоянно дующий с моря, и везде — на дорогах, в деревнях — те же лица, тот же детский смех, та же ленивая беззаботность. Первозданная земля, в каком-то смысле, где время может повернуть вспять и распустить вязаное полотно жизни, полное ошибок и предательств.

Вот почему я так хорошо ощутил его нетерпение, огромное желание проникнуть в глубь страны и поскорее приступить к врачебным обязанностям. Из Виктории, находившейся у подножия Камерунских гор, путь его пролегал к высокогорному плато центральной части страны, где он должен был вступить в должность врача в городе Баменда. Там ему предстояло проработать первые несколько лет в полуразрушенной больнице ирландских монахинь, со стенами из высохшей грязи и с пальмовой крышей. Именно здесь он проведет самые счастливые годы своей жизни.

Жилище — Лесная Хижина, как он ее назвал, — было настоящим двухэтажным деревянным домом, правда, тоже с крышей из пальмовых листьев, которую отец немедленно и с большим тщанием взялся переделывать. Внизу, в долине, неподалеку от местных тюрем, раскинулась деревня хауса с глинобитными стенами и высокими

воротами, сохранившимися со времен эмирата Адамавы. Чуть в стороне — еще одно поселение, рынок, дворец короля Баменды, местная резиденция окружного комиссара и официальных представителей метрополии (появившихся там только один раз по случаю награждения короля орденом). На одной из фотографий, сделанных отцом, не без юмора показано, как эти джентльмены, эмиссары британского правительства, в тропических шлемах, облаченные в плотные шорты, накрахмаленные рубашки и длинные шерстяные носки, наблюдают за шествием королевских стражей в набедренных повязках и меховых, украшенных перьями головных уборах, которые воинственно потрясают дротиками.

Именно в Баменду привез отец маму сразу после свадьбы, а Лесная Хижина стала их первым домом. Они обставили его мебелью — единственной, которую они когда-либо покупали и которая отныне будет повсюду их сопровождать: столы, вырезанные из стволов ироко, кресла, украшенные традиционными для Западного высокогорья фигурными изображениями леопардов, обезьян и антилоп. На фотографии отца их гостиная в Лесной Хижине выглядит вполне «колониальной»: над колпаком камина (зимой в Баменде

холодно) подвешен большой щит, обтянутый кожей бегемота, с двумя скрещенными копьями. Скорее всего, щит достался отцу в наследство от предыдущего жильца, ибо это был вовсе не тот предмет, который мог представлять для него интерес. А вот резная мебель, та, напротив, перекочевала вместе с ним во Францию. Бóльшую часть детства и подросткового возраста я провел среди этой мебели, частенько усаживаясь на эти табуреты для чтения словарей. Я играл со статуями из черного дерева, с бронзовыми настольными колокольчиками, а раковины каури использовал вместо фишек. Для меня все эти вещицы, резные фигурки и маски, висевшие по стенам, не представляли ничего экзотического. Они были принадлежавшей мне частью Африки, по-своему продлевая мою африканскую жизнь и отчасти объясняя ее. А еще раньше — до моей жизни — они могли бы рассказать о том времени, когда отец и мама жили там, в другом мире, в котором были счастливы. Как бы это поточнее выразиться? Одним словом, я был крайне изумлен и попросту возмущен, когда много лет спустя узнал, что подобные предметы покупали и выставляли люди, ничего не знавшие обо всем этом, для которых они ничего не значили, и даже хуже

— для кого все эти маски, статуи и троны были не полными жизни вещами, а мертвой оболочкой, которую у нас часто именуют искусством.

До переезда в Бансо первые, самые нежные годы своей семейной жизни отец и мама проводили не только в Лесной Хижине, но и в странствиях по тропам Камерунского нагорья. Вместе с ними путешествовали работники: слуга Ньонг, Шиндефонди — переводчик и Филиппус — старший носильщик. Филиппус был большим маминым другом. Этот низкорослый человек, наделенный геркулесовской силой, был способен в одиночку сдвинуть ствол дерева, загромождавший дорогу, или носить тяжести, которые никто не мог даже приподнять. Мама рассказывала, что несколько раз он помогал ей перебираться через реку вброд, держа ее над водой на вытянутых руках.

Пускались в путь и неразлучные друзья отца, прирученные им сразу после приезда в Баменду: кони Джеймс и Пегас, оба с белыми «звездочками» во лбу, ласковые и капризные. И еще собака по кличке Шалун, довольно нескладная легавая, которая мчалась впереди всех по тропинкам и неизменно ложилась у ног отца, где бы тот ни остановился, даже когда однажды ему пришлось позировать для официальной фотографии в ком-

пании местных королей.

Бансо

В марте 1932 года отец с матерью покинули резиденцию Лесная Хижина в Баменде и поселились в горах, в селении Бансо, где должна была открыться новая больница. Бансо находилось в самом конце «главной», латеритовой дороги, которая функционировала в любое время года. Иными словами, это место, расположенное на пороге края, считавшегося «диким», являлось последним населенным пунктом, на который еще распространялась британская власть. Отец будет там не только единственным врачом, но и единственным европейцем, что, кстати, не так уж сильно его огорчало.

Подвластная ему территория была огромна. Она пролегала от границы с Французским Камеруном на юго-востоке до пределов Адамавы на севере и включала бóльшую часть племенных поселений и небольших королевств, которым удалось избежать введения там прямого управления Англии после ухода немцев: Канту, Абонг, Нком, Бум, Фумбан, Бали. На карте, которую он сам составил, отец записывал расстояния не в километрах, а в

часах и днях пути. Подробная информация на его карте давала истинное представление о размерах этой территории, вот почему она так была для него ценна: броды, глубокие или бурные реки, подъемы, разветвления троп, спуски в долины, которые невозможно преодолеть на лошадях, неприступные скалы. На создаваемых им картах названия образуют нескончаемо длинный список, они повествуют о переходах под палящим солнцем, через травяные равнины или об изнурительном подъеме на горы, пронзающие облака: Кенгавмери, Мбиами, Танья, Нтим, Вапири, Нтем, Вантэ, Мбам, Мфо, Янг, Нгонкар, Нгом, Нбирка, Нгу, тридцать два часа пешком, то есть пять дней, проходя по десять километров в день на сложных участках. Прибавим к этому остановки в деревнях, обустройство стоянок, уход за больными, вакцинацию, переговоры (знаменитые «подарочные» речи) с местными властями, жалобы, которые необходимо выслушивать, ведение журнала, соблюдение строжайшей экономии, нуждающейся в контроле, заказ медикаментов в Лагосе, четкий инструктаж лекарей и санитаров в диспансерах.

Более чем на пятнадцать лет эта страна станет его страной. Возможно, никому другому не уда-

лось прочувствовать ее лучше — пройденную вдоль и поперек, исследованную до мелочей, выстраданную. Страну, в которой он знал каждого жителя, где многим помог явиться на свет, а иных проводил в последний путь. Любимую им, прежде всего. Даже если отец никогда не говорил об этом, никогда ничего не рассказывал, до конца жизни не изгладятся в нем воспоминания об этих холмах, лесах, травяных просторах и, уж конечно, о людях, с которыми он встречался.

В пору, когда он совершал путешествия по северо-западной части страны, настоящих карт еще не появилось. Единственной имевшейся в его распоряжении печатной картой была карта из штаба немецкой армии с масштабом 1:300 000, составленная в 1913 году Мойзелем. Помимо верного отображения основных водотоков — Донга-Кари, притока Бенуэ на севере, и реки Кросс на юге, да еще двух древних городов-крепостей Банио и Кенту, карта страдала неточностями. Например, Абонг, самая северная деревня на территории медицинского округа отца, требовавшая более десяти дней пути, была на немецкой карте отмечена вопросительным знаком.



Фот. 10. Король Мемфои, Бансо

Поселения племен кака и мбембе находились так далеко от прибрежной зоны, что казалось, будто они принадлежали другому государству.

Жившие там люди никогда не видели европейцев, кроме стариков, которые с ужасом вспоминали оккупацию немецкой армии, казни и похищения детей. Безусловно, они не имели ни малейшего представления о могуществе таких колониальных держав, как Англия или Франция, и ничего не знали о войне, готовившейся на другом конце мира. И тем не менее это не были области изолированные или дикие (в отличие от Нигерии, и особенно лесистых районов Огоджи, как об этом не раз говорил отец). Напротив, это был процветающий край, где выращивали фруктовые деревья, ямс, просо и разводили скот. Эти королевства находились в зоне влияния ислама, пришедшего туда из северных империй, из Кано, из эмиратов Борну, Агадеса, Адамавы, чему во многом способствовали торговцы вразнос, фулани и воины хауса. На востоке отцовского «участка» находились город-крепость Банио и страна племени бороро, на юге — очаг древней культуры народа бамум, султанат со столицей в Фумбане, жители которого вели постоянный товарообмен и считались признанными мастерами в области художественного литья и чеканки металла; они даже имели свою уникальную письменность, изобретенную в 1900 году султаном

Нджойей. В конечном счете европейская колонизация очень мало затронула данный регион. С таким городами, как Дуала, Лагос и Виктория, его словно разделяли долгие годы пути. Горцы Бансо продолжали жить так, как они жили всегда: в замедленном темпе, в гармонии с окружающей их великолепной природой, они возделывали свою землю и пасли стада длиннорогих коров.

Снимки этого периода, сделанные отцовской «лейкой», свидетельствовали о его безмерном восхищении этим краем. Взять хотя бы поселение племени нсунгли, на окраине деревушки Нкор: эта Африка не имела ничего общего с прибрежной зоной, где всегда царила тяжелая атмосфера, где даже в растительности было что-то удушливое, таящее угрозу. А еще большее давление, наверное, оказывало присутствие там французских и британских оккупационных сил.

Здесь, напротив, открывалась страна с далекими горизонтами, безбрежным небом и просторами, в которых терялся взгляд. Отец и мама ощутили свободу, которой не знали ни в одном другом месте. Все дни они проводили в пути — иногда пешком, иногда верхом на лошадях, останавливаясь только вечером, чтобы заночевать под открытым небом, рядом с дере-

вом, либо в случайном жилище, как например в деревушке Кволу, на дороге до Кишонга, — простой лачуге из засохшей грязи и листьев, где они подвесили свои гамаки. Как-то возле поселения Нтумбо, на плоскогорье, путь им преградило стадо, которое отец тут же сфотографировал с мамой на переднем плане. Они находятся так высоко, что кажется, будто мглистое небо опирается на полумесяцы коровьих рогов, закрывая вершины гор вокруг. Несмотря на плохое качество отпечатков, счастье отца и матери ощущается почти физически. На обратной стороне одной из фотографий, сделанной где-то на высокогорье страны мбембе, где они заночевали и откуда открывался величественный пейзаж, отец написал с несвойственной ему высокопарностью: «Это необозримое пространство в глубине — не имеющая пределов равнина».



Фот. 11. Стадо близ Нтумбо, страна народа нсунгли

Легко представить волновавшие отца чувства, когда он пересекал высокогорные плато и травяные равнины, взбирался по узким тропкам, змеившимся вдоль склонов гор, каждый раз открывая все новые панорамы, голубоватые линии вершин, выплывавших из облаков, подобно миражам, и омытых светом Африки — нестерпимо ярким в полдень или смягченным сумерками, когда красная земля и рыжеватые травы словно

освещены изнутри тайным огнем.

Знали они и опьянение физического труда, ту усталость, от которой ноет все тело к концу дня от непрерывного движения, когда нужно слезать с лошади и вести ее на поводу, спускаясь на дно балки. Знали нещадное солнце, жажду, которую невозможно утолить, студеную воду быстрин, которые приходилось преодолевать, когда уровень воды порой доходил лошадям до груди. Мама ездила в дамском седле, как ее учили в манеже Эрменонвиля. Но, как ни парадоксально, эта неудобная поза — до нелепости неудобная и подчеркивающая различие полов, что еще было актуально для довоенной Франции, — придавала ей вид настоящей африканки. В ее посадке было что-то беспечно-грациозное и в то же время очень древнее, навевающее мысль о библейских временах или караванах туарегов, чьи женщины преодолевали пустыни в подобии палатки на особом седле, помещенном на спину дромадера.

Мама повсюду сопровождала отца в его медицинских странствиях по Западному высокогорью вместе с носильщиками и переводчиком. Они перебирались из одного населенного пункта в другой, их названия отец отмечал на своей карте: Ником, Бабунго, Нджи-Ником, Луаком, Ндье,

Нги, Обукун. Жилища их на местах часто бывали лишены малейших удобств: например, в деревне Кваджа, в стране кака, им была предоставлена хижина из веток, без окон, прямо посреди плантации банановых деревьев. За ночь внутри скапливалось так много влаги, что по утрам нужно было сушить простыни и одеяла, раскладывая их на крыше. В таких условиях они оставались на одну-две ночи, а то и на целую неделю. Приходилось пить кислую и чуть фиолетовую из-за марганцовки воду, умываться в реке, готовить на костре перед входом в «дом». В горах, несмотря на близость экватора, ночи были холодные, шумные, наполненные криками диких котов и лаем мандрил. Однако это была Африка не Тартарена и даже не Джона Хьюстона. Она, скорее, из «Африканской фермы», эта реальная Африка, густонаселенная, страдающая от болезней и племенных войн. Но также сильная и будоражащая, с ее бесчисленными детьми, танцевальными праздниками, бодрым настроением и острым словцом пастухов, что временами встречаются на дорогах.

Время, проведенное в Бансо, для моего отца и мамы — это время молодости и приключений. На всем протяжении их пути та Африка, с которой

они сталкивались, не имела никакого отношения к колониализму. Следуя одному из своих принципов, британские власти оставили нетронутой ее традиционную политическую структуру — с королями, религиозными лидерами, судьями, кастами и привилегиями.

Когда они входили в то или иное селение, их обычно приветствовали посланцы короля, приглашали на переговоры, после чего они фотографировались вместе с королем и его приближенными. На одном из таких снимков родители запечатлены рядом с Мемфои — королем Бансо. Как и положено по традиции, король сидит на троне, обнаженный до пояса, в руке у него опахало от мух. По обеим сторонам от него стоят мои отец и мать в мятой, запылившейся в дороге одежде. На маме длинная юбка и дорожные туфли, на отце — рубашка с закатанными рукавами и брюки цвета хаки, чересчур широкие и короткие, подхваченные тонким ремешком, похожим на веревку. Они улыбаются, они счастливы, они свободны в этом очередном приключении. За королем виднеется стена дворца, простого жилища из глинобитного кирпича с поблескивающими кое-где светлыми соломинками.



Фот. 12. Мост на реке, Аоада

Иногда, во время долгих переходов по горным дорогам, им выпадали ночи особые — бурные, жгучие, сладострастные. Мама рассказывала о

неожиданно возникавших — из ниоткуда — деревенских праздниках, таких как в Бабунго, стране нком, что находилась в четырех днях пути от Бансо. На площади готовилось театрализованное представление. Под баньяном расселись музыканты, они били в барабаны, и призывный ритм разносился на огромное расстояние. Первыми начали танцевать женщины, они были полностью обнажены, если не считать расшитых бусинами поясов, обернутых вокруг талии. Плясуньи двигались затылок в затылок, наклонясь вперед, пятки их топотали по земле в том же ритме, что и барабаны. Мужчины стояли не двигаясь. На некоторых были надеты робы из рафии, лица других закрывали маски богов. Церемонией руководил главный жрец.

Праздник начался, когда солнце клонилось к закату, часов в шесть, и длился до рассвета следующего дня. Отец и мама лежали на брезентовой складной кровати под москитной сеткой и слушали, как стучат барабаны в непрерывном, слабо ощутимом, точно сердцебиение, ритме. Они были влюблены. Африка — одновременно и дикая, и такая человечная — стала их долгой брачной ночью. Весь день солнце обжигало им тела, так что они наэлектризовались до предела. Той но-

чью, полагаю, под неумолчный барабанный бой, от которого вибрировала под ними земля, они занимались любовью, нервно сжимая друг друга в объятиях, потные и разгоряченные, в жалкой хижине из веток и грязи, размером не больше курятника. На рассвете они заснули в холодном дыхании утра, волнами пробравшегося под москитную сетку, по-прежнему тесно сплетенные, не слышавшие утомительного боя последних барабанов.

Ярость Огоджи

Когда я пытаюсь понять, что так изменило жизнь отца, отчего в нем произошел надлом, первое, что приходит на ум, — это война. Жизнь его четко делится на периоды: «до» и «после». «До» для родителей — это нагорья Западного Камеруна, пологие склоны Баменды и Бансо, Лесная Хижина, дороги через саванны и горы Мбам, стра́ны народов мбембе, кака, шанти. Все это было если и не воплощением рая — ничего общего с ленивой истомой побережья Виктории, роскошью резиденций и праздностью белых поселенцев, — то таило в себе бесценные сокровища человеческого существования, нечто мощное и щедрое, словно пульсирующая в жилах молодая кровь.

Это было похоже на счастье. Тогда-то мама и забеременела дважды. Африканцы говорят, что люди рождаются не в тот день, когда выходят на свет из живота матери, а в том месте и в тот момент, когда они были зачаты. Мне ничего не известно о моем рождении (как и всем остальным, полагаю). Но если бы мне удалось войти

в самого себя и разглядеть, что там внутри, я бы непременно ощутил эту силу, эту кипучую энергию бурлящего бульона молекул, готовых собраться воедино и зародить новую жизнь. И ощутил бы все то, что предшествовало самому моменту зачатия, все то, что запечатлелось к этому времени в памяти Африки. И не какой-то там отфильтрованной или идеальной памяти: образы высокогорных плато, деревень, лиц стариков, неестественно больших глаз детей, изнуренных дизентерией, — память о прикосновении ко всем этим телам, о запахе человеческой кожи, о жалобах, произнесенных шепотом. И, несмотря на все это, а еще больше — по причине всего этого, — эти образы слились в один, образ счастья, и дали ту полноту ощущений, благодаря которой я и родился.

Память эта была тесно связана с местностью, горными вершинами, высоким небом, утренней свежестью воздуха. А еще с любовью к дому — простенькой глинобитной хижине, крытой пальмовыми листьями, — и двору, где по вечерам собирались женщины и дети, рассаживаясь на земле, чтобы дождаться консультации, диагноза, вакцины. И с дружбой, что связывала их с местными жителями.

Вспоминаю, словно когда-то мы были с ним знакомы, помощника моего отца в Бансо, старика Ахиджо, который стал его советчиком и другом. Он заботился обо всем: о финансах, маршрутах в отдаленные районы, взаимоотношениях с вождями, зарплате носильщиков, состоянии «дорожных хижин». Первое время он еще сопровождал отца в путешествиях, но постепенно старость и состояние здоровья перестали ему это позволять. За работу Ахиджо ничего не платили. Но уж в чем в чем, а в уважении или кредите он отказа не знал: ведь он был доверенным человеком тубиба. Именно благодаря ему отец сумел обрести опору в этой стране, заручиться поддержкой жителей (в том числе и местных колдунов, своих прямых конкурентов), а значит, спокойно заниматься своим делом. От двадцатилетнего пребывания в Западной Африке у отца сохранилось только двое друзей: Ахиджо и доктор Джеффрис, окружной комиссар Баменды, страстно увлеченный археологией и антропологией. Незадолго до отъезда отца Джеффрис успешно защитил докторскую диссертацию и был приглашен на работу в Йоханнесбургский университет. Время от времени он давал о себе знать, посылая отцу из Южной Африки статьи и брошюры, посвященные его

открытиям, а также ежегодно на День подарков отправлял ему посылку с джемом из гуайявы.

Зато Ахиджо писал отцу регулярно во Францию в течение многих лет. В 1960 году, когда его страна обрела независимость, Ахиджо спрашивал отца, чтобы узнать мнение друга насчет присоединения западных королевств к Нигерии. Отец тогда ему ответил, что, учитывая исторический опыт, было бы лучше западным территориям войти во франкоязычный Камерун, который, в отличие от Нигерии, зарекомендовал себя как вполне мирная страна. Последующие события подтвердили его правоту.

Затем письма приходить перестали, и отец узнал от монахинь Баменды, что его старый друг умер. Таким же образом однажды перед Новым годом из Южной Африки не пришла посылка с джемом из гуайявы, и так мы узнали, что доктора Джеффриса не стало. С их уходом оборвались последние связи, которые отец поддерживал с Африкой — своей приемной матерью. Теперь оставалась только мизерная пенсия, которую правительство независимой Нигерии обязалось выплачивать своим бывшим служащим. Но вскоре и та перестала приходить, так что прошлое окончательно кануло в Лету.

Итак, война обратила в прах африканскую мечту моего отца. В 1938 году мама покинула Нигерию, чтобы рожать во Франции, у своих родителей. По случаю рождения первенца отец взял короткий отпуск, позволивший ему воссоединиться с мамой в Бретани, где он оставался до конца лета 1939 года. Он сел на пароход, чтобы вернуться в Африку, перед самым объявлением войны. В Огодже, в провинции Кросс-Ривер, ему предстояло занять новую должность. Едва война вспыхнула, он уже знал, что Европа снова будет охвачена огнем с массой кровавых жертв, как в 1914 году. Возможно, он надеялся, как и многие в Европе, что продвижение немецкой армии будет остановлено на границе, и Бретани, находившейся в западной части страны, удастся избежать злой участи.

Когда в июне 1940-го пришла новость о вторжении во Францию, действовать уже было слишком поздно. В Бретани, в Пон-л'Аббе, мама видела, как под ее окнами проходили немецкие войска, в то время как по радио передавали, что враг остановлен на Марне. Приказ комендатуры не допускал исключений: все, кто не являлись постоянными жителями Бретани, должны были срочно покинуть ее пределы. Только что оправившейся от

родов маме пришлось выехать сначала в Париж, а затем в свободную зону. Других новостей от нее не было. Там, в Нигерии, отец знал только то, что передавало Би-би-си. Для него, жившего в полной изоляции, да к тому же в глуши, Африка стала гигантской ловушкой. В тысячах километров от него, где-то по дорогам, переполненным беженцами, в стареньком бабушкином «де дионе» ехала моя мама, увозя своих родителей и двух детей — одного годовалого и другого трехмесячного. Конечно же, именно тогда отец попытался совершить это безумие: пересечь пустыню, сесть в Алжире на судно и отправиться в Южную Францию, чтобы спасти жену и детей, забрав их с собой в Африку. Согласилась бы мама последовать за ним? Ведь ей пришлось бы бросить родителей, возможно подвергнув их мучениям, в то время как у стариков уже не было сил для сопротивления. На обратном пути их подстерегали тысячи опасностей: они рисковали попасть в руки к немцам или итальянцам, их попросту могли выслать из страны.

У отца, разумеется, никакого определенного плана не было. В эту авантюру он бросился очертя голову. Сначала добрался до Кано, что на севере Нигерии, а там уже за плату раздобыл место на

борту грузовика, в составе колонны пересекавшего Сахару. В пустыне войны не бывает. Торговцы продолжали перевозить соль, шерсть, древесину и прочее сырье. Морские дороги стали слишком опасными, и только через Сахару можно было сравнительно спокойно доставлять продовольствие. Но для военврача, офицера британской армии, путешествовавшего в одиночку, этот план был большой дерзостью, почти безумием. Отец двинулся на север, сделав остановку у нагорья Ахаггар неподалеку от города Таманрассет (в то время — Форт-Лаперрин). Времени на подготовку не было, и он не успел взять с собой лекарств и запаса еды. Неудобства пути ему пришлось разделять с сопровождавшими караван туарегами: он пил, как и они, щелочную воду оазисов, вызывавшую понос у тех, кто к ней не привык. На протяжении всей дороги через пустыню отец фотографировал: в Зиндере, Ин-Геззаме, горах Ахаггара. Снимал наскальные надписи, сделанные на языке тамашек, лагеря кочевников, девушек с раскрашенными лицами, одетых во все черное, и детей. В форте Ин-Геззам, на границе французских владений в Сахаре, он провел несколько дней. На одном из снимков можно увидеть ряд глинобитных построек, над

которыми полощется французский флаг, а на обочине шоссе — грузовик, возможно, тот самый, в котором он путешествовал. Отцу все-таки удалось достичь противоположного берега пустыни — селения Арак. А может, он даже добрался до форта Мак-Магон в Эль-Голеа. Во время войны любой иностранец — шпион. В конце концов отец был арестован и отправлен на прежнее место службы. Вне себя от отчаяния, он должен был вернуться обратно, проделав путь сначала до Кано, а затем до Огоджи.

После сорвавшегося побега Африка перестала быть для отца символом свободы. Баменда, Бансо — все это осталось в том счастливом времени, когда он, в святилище высокогорий, находился под защитой гигантов: гор Бамбуту высотой 2700 метров, Коджу — 2000 метров, Оку — 3000 метров. Раньше он верил, что останется там навсегда, мечтал о прекрасной жизни, где среди чудесной природы вырастут его дети, став однажды, как и он, сыновьями Африки.

Огоджа, к которой его приговорила война, была форпостом английской колонии, большим селением, расположенным в душной котловине на берегу реки Айя, теснимым лесами и отрезанным от Камеруна непроходимым горным

хребтом. Больница, куда он получил назначение, существовала уже много лет. Это было большое бетонное здание с железной крышей, где имелись операционная, палаты для пациентов и целая команда медсестер и акушерок. Если в этом и содержался элемент приключения (побережье все-таки находилось далеко, в целом дне пути от больницы), то приключение было предсказуемым. Резиденция окружного комиссара располагалась неподалеку — в Абакаликах, административном центре провинции Кросс-Ривер, куда можно было добраться по сносной дороге в любое время года. Предоставленный ему дом стоял рядом с больницей. Он ничем не напоминал красивую деревянную постройку вроде Лесной Хижины в Баменде, но не был и жалкой глинобитной лачугой с пальмовой крышей, как в Бансо. Новое казенное жилье оказалось современным и довольно уродливым блочным зданием с крышей из гофрированного металла, которая ежедневно после полудня превращала его в печь; отец поспешил сразу же покрыть ее сверху пальмовыми листьями, чтобы изолировать помещение от жара.

Как он жил там все эти долгие годы войны, один, в большом пустом доме, не получая изве-

стий о любимой жене и детях?

Отдушину отец находил только в работе врача — она стала его одержимостью. Беспечная непринужденность Камеруна для Огоджи не годилась. Если ему приходилось наведываться в отдаленные уголки, он уже не путешествовал верхом по тропинкам, змеившимся в горах, а использовал машину (тот самый «форд V-8», купленный у его предшественника по службе, скорее грузовик, чем автомобиль, который произвел на меня неизгладимое впечатление, когда прибыл за нами на пристань Порт-Харкорта). Отец отправлялся на нем в соседние деревушки, соединенные грунтовыми дорогами: Иджаму, Ньоннью, Бавоп, Амачи, Батерик, Бакалунг, до самой Обуду на отрогах Камерунских гор. Да и общение с больными было уже не то — слишком уж их оказалось много. В больнице Огоджи у него больше не было времени на беседы с пациентами, на выслушивание жалоб их домашних. Женщинам и детям во дворе больницы места не нашлось — разводить огонь для приготовления пищи было строжайше запрещено. Зато пациенты лежали в палатах на настоящих металлических кроватях с накрахмаленными белоснежными простынями, страдая от тревоги и дискомфорта, вероятно, не меньше,

чем от недугов. Входя в палаты, отец читал в их глазах страх. Для этих больных врач уже не был человеком, способным принести пользу, исцеляющий их европейскими лекарствами, который охотно делится своими знаниями со старейшинами деревни. Доктор — чужак, слух о котором моментально распространился по всей округе, что он-де режет руки и ноги, когда начинается гангрена, а его единственное действенное средство заключено в инструменте, одновременно и устрашающем, и ничтожном — латунном шприце с шестисантиметровой иглой.



Фот. 13. Бансо

Тогда отец начал осознавать, после стольких лет, за которые успел свыкнуться с мыслью, будто он близок африканцам, будто он — их родственник и друг, что на самом деле врач — это просто один из представителей колониальной державы, ничем не отличающийся от полицейского, судьи или военного. Да и могло ли быть иначе? Врачебные услуги тоже были проявлением власти над людьми, а медицинский контроль — контролем политическим. И британская армия прекрасно это понимала: еще в начале века после многих лет ожесточенного сопротивления ей удалось силой оружия и современной техники одолеть магию последних воинов народа ибо в святилище Аро-Чуку, а ведь это всего в дне пути от Огоджи! Изменить целые народы непросто, когда изменение это осуществляется под принуждением. Отец, безусловно, хорошо усвоил этот урок благодаря годам одиночества и полной изоляции, которые он познал по милости войны. Уверенность в этом укоренила в нем мысль, что он потерпел неудачу, она и привела его к пессимизму. Незадолго до смерти, помнится, отец однажды сказал мне, что, если бы ему довелось начать жизнь сначала, он стал бы не врачом, а ветеринаром, потому

что только животные способны принять свое страдание.

На Огодже лежала печать насилия. Находясь в Бансо, Баменде и Камерунских горах, отец невольно подпал под очарование неизменного благодушия и юмора африканцев. В Огодже все оказалось по-другому. Этот регион раздирали племенные войны, акты мести, сведение счетов между деревнями. Дороги и тропы здесь были небезопасны, нельзя было выйти из дома безоружным. Племена ибо, проживавшие в районе Калабара, наиболее ожесточенно сопротивлялись проникновению европейцев. Они считались христианами (это станет одним из аргументов, используемых Францией для поддержки их борьбы с соседями — йоруба, которые были мусульманами). На самом же деле в то время повсеместно были распространены лишь анимизм и фетишизм. Колдовство, правда, практиковалось и в Камеруне, но, по мнению отца, там это явление носило более открытый и позитивный характер. В восточной части Нигерии, напротив, колдовство было тайным, с использованием всевозможных ядов и секретных амулетов, приносящих несчастье. В Огодже отец впервые услышал из уст европейцев — эти слухи

разносила их прислуга — истории о порче, магии, ритуальных преступлениях. Легенды об Аро-Чуку и его жертвенном камне, обагренном человеческой кровью, продолжали владеть умами людей. Эти жутковатые истории создавали атмосферу недоверия, напряженности. В такой-то деревне, сообщали рассказчики, неподалеку от Обуду, местные жители имели обыкновение натягивать веревку через дорогу, рассчитывая на одиноких велосипедистов, осмелившихся нарушать их пределы. Стоило незадачливому путнику упасть, как его немедленно убивали, оттаскивали в укромное место, после чего тело расчленяли и съедали. А в другой такой же деревушке окружной комиссар якобы во время инспекции обнаружил на прилавке мясника куски «свинины», которая, по слухам, была не чем иным, как человечиной. В Обуду, где в горных местностях продолжали охотиться на горилл, на рынках можно было увидеть отсеченные руки этих животных, которые продавались в качестве сувениров. Но если как следует присмотреться, можно было убедиться, что многие выставленные на продажу руки принадлежат вовсе не гориллам, а детям.

Отец, передавая нам эти страшные сплетни, возможно, только наполовину в них верил.

Самому ему не приходилось сталкиваться с каннибализмом. Но я уверен, что отцу часто приходилось приезжать для вскрытия тел, в том числе и жертв убийств. Тема насилия постепенно стала его навязчивой идеей. Я слышал, как отец рассказывал, что тела, которые ему предстояло вскрывать, порой находились на такой стадии разложения, что ему приходилось крепить скальпель на конец палки, прежде чем сделать надрез, дабы избежать выброса трупных газов.

Теперь, когда обаяние Африки развеялось, болезни стали для него чем-то крайне неприятным, едва ли не оскорбительным. Ремесло, за которое он когда-то взялся с таким энтузиазмом, все больше его тяготило, да еще при дикой жаре, в вечной сырости от реки, в этом гнетущем одиночестве, на краю Земли. Близость к человеческому страданию в итоге вызвала у отца чувство усталости: он не мог больше видеть пылающие в лихорадке тела, раздутые от рака животы, изгрызенные язвами и обезображенные слоновой болезнью ноги, лица, изъеденные проказой или сифилисом, разорванные от частых родов лона женщин, детей, похожих на старичков от недоедания, их серую, словно пергамент, кожу, волосы цвета ржавчины, глаза, широко раскрытые в предчув-

ствии близкой смерти. Много лет спустя отец рассказывал об ужасах, с которыми сталкивался ежедневно, будто ему бесконечно прокручивали один и тот же эпизод фильма: о невменяемой из-за уремии старухе, которую привязывали к кровати; о мужчине, из чьих недр он извлек такого длинного солитера, что червя пришлось наматывать на палку; о молодой женщине, подвергшейся ампутации из-за гангрены; еще об одной, умиравшей от оспы, доставленной к нему слишком поздно — с раздутым, покрытым ранами лицом. Ощущение физической близости со страной, возникающее лишь через тесный контакт с людьми в их страдающей повседневности, через запах кожи, пот, кровь, боль, надежду, слабую вспышку света в глазах больного, если лихорадка уходит, или бесконечно длящееся мгновение, когда врач угадывает угасание жизни в зрачке умирающего, — все, что его так вдохновляло, наполняло энергией вначале, когда он плавал по рекам Гвианы или бродил по тропам Камерунского нагорья, — все это было поставлено под сомнение в Огодже из-за обескураживающе изнурительных будней, в невыразимом пессимизме, ибо он осознал невозможность дойти до конца в исполнении своей задачи.

Отец рассказывал мне, и голос его все еще дрожал от волнения, о молодом ибо, которого принесли ему в больницу Огоджи со связанными руками и ногами, с кляпом во рту, похожим на деревянный намордник. Юношу укусила собака, и у него развилось бешенство. Он был в сознании и понимал, что умирает. Больного поместили в бокс, и временами у него начинались приступы: тело его, привязанное к кровати, выгибалось дугой с такой неистовой силой, что казалось, будто кожаные ремни не выдержат. При этом юноша что-то выкрикивал или выл от боли, на губах его выступала пена. Затем он вновь погружался в забытье, вызванное морфием. Несколько часов спустя отец сам вонзил в его вену иглу, впрыснув ему яд. Перед тем как умереть, юноша посмотрел на моего отца, потом потерял сознание, и грудь его опала с последним вздохом. Каким может стать человек, если он пережил такое?

Забвение

Таким был отец, когда я встретился с ним в 1948 году, в конце его африканской жизни. Неузнанным и непонятым. Слишком отличавшимся от всех, кого я знал прежде, незнакомцем, и даже больше — почти врагом. Он не имел ничего общего с мужчинами бабушкиного круга, которых я видел во Франции, с этими «дядями», друзьями деда, джентльменами преклонного возраста — изысканными, увенчанными наградами, патриотами с реваншистским душком, балагурами, любителями дарить подарки, имеющими семьи и приятелей, непременными подписчиками «Журнала путешествий» и читателями Леона Доде и Барреса. Всегда безупречно одетые — в серых костюмах, жилетках, жестких воротничках и галстуках, эти люди носили фетровые шляпы и поигрывали тросточками с железными наконечниками. После ужина они уютно устраивались в кожаных креслах столовой — живом напоминании о «тучных годах», — курили и вели беседы, пока я дремал, уткнувшись носом в пустую тарелку под рокот их голосов.

Человек, который ждал меня у подножия трапа на пирсе Порт-Харкорта, словно был из другого мира: на нем были бесформенные, слишком широкие и короткие брюки, белая рубашка и запылившиеся в пути черные кожаные ботинки. Он был суров и молчалив. Когда он говорил по-французски, то непременно с певучим маврикийским акцентом, но чаще он изъяснялся на пиджине, таинственном диалекте, напоминавшем перезвон колокольчиков. Для нас он был несгибаемым и авторитарным и в то же время любезным и великодушным с африканцами, которые работали у него в больнице или на его казенной квартире. У него существовал целый свод правил и ритуалов, о которых я раньше и понятия не имел: дети, оказывается, не могли говорить за столом, не получив на это разрешения, они не должны были бегать, играть или прохлаждаться в постели. Помимо завтрака, обеда и ужина принимать пищу запрещалось, сладости из рациона исключались вовсе. Дети не должны были во время еды класть руки на стол, не смели ничего оставлять на тарелке и были обязаны внимательно следить за тем, чтобы не жевать с открытым ртом. Одержимость гигиеной доходила у него до крайности, например руки он мыл спиртом, а потом опаливал их

спичкой. При любой возможности он проверял уголь в фильтре для воды и пил только чай или кипяток (китайцы называют его «белым чаем»), сам изготавливал свечи из воска и пропитанных парафином шнуров, сам мыл посуду экстрактом мыльнянки. Не считая радиоприемника, антенна от которого тянулась через весь сад, связи с внешним миром у него не было: книги и газеты его не интересовали. Единственным чтением отца был небольшой томик в черном переплете, обнаруженный мной спустя долгое время и который я до сих пор не могу раскрывать без волнения: «О подражании Иисусу Христу». Эта книга, полагаю, предназначалась для военных, так же как в древности солдатам предписывалось чтение «Размышлений» Марка Аврелия. Разумеется, он никогда нам об этом не говорил.

После первого же контакта с отцом мы с братом решили скрестить с ним шпаги, подсыпав ему в чайник перца. Нельзя сказать, что это его позабавило: он изрядно погонял нас вокруг дома и жестоко избил. Может, кто-то другой, я имею в виду одного из «дядей», посещавших квартиру бабушки, просто посмеялся бы, и всё. Но тут мы сразу поняли, что отец способен на ярость, он может строго наказать, нарезать прутьев в лесу

и отхлестать нас по ногам. На этом примере он основал свое мужское правосудие, не допускавшее торгов или встречных исков, слез, обещаний, ничего такого, к чему мы привыкли прибегать с бабушкой. Было ясно, что он не потерпит ни малейшего проявления неуважения, и все наши поползновения изобразить приступы бешенства ни к чему не приведут. Во всяком случае, для меня все было очевидно: окна в Огодже располагались низко, и выбрасывать мебель наружу было бы делом неблагодарным.

Человек этот требовал, чтобы каждый день на сон грядущий мы произносили молитвы, а в воскресенье обязательным было чтение молитвослова. Религия, которую мы открывали через него, не оставляла места поблажкам. Таковы были новые правила жизни, кодекс поведения. Кажется, именно по прибытии в Огоджу мы узнали, что Санта-Клауса не существовало, что религиозные обряды и праздники должны сводиться к одним молитвам, и нет необходимости в подарках, которые в рамках нашего существования являлись излишеством.

Возможно, все сложилось бы иначе, не вторгнись в нашу жизнь война, если бы отец, вместо того чтобы столкнуться с детьми, которые стали

для него незнакомцами, продолжал жить в доме, где находился его первенец, следуя медленным курсом по пути отцовства, который сопровождает ребенка от раннего детства до разумного возраста. Африка, подарившая ему счастье разделить приключения его жизни с женщиной в Бансо и Баменде, — та же Африка украла у него часть семейной жизни и любовь близких.

Сегодня я могу лишь сожалеть о том, что наша встреча тогда не состоялась в полном смысле слова. Я пытаюсь представить, как это могло произойти с восьмилетним ребенком, выросшим в замкнутой атмосфере войны, который отправился на другой конец света, чтобы встретиться, по сути, с чужим человеком, которого ему представили как отца. И пусть это случилось бы в Огодже, на природе, у которой всего имелось в избытке: солнца, гроз, дождей, растений, насекомых. В стране, воплощавшей одновременно и свободу, и принуждение. С другими, непохожими мужчинами и женщинами, и не из-за цвета их кожи и волос, а из-за того, что они иначе разговаривали, ходили, смеялись, ели. В стране, где болезни и старость не скрывались от глаз, а радость и детские забавы были еще ярче, еще очевиднее. Где время детства сменялось зрелостью очень рано,

почти без перехода, когда мальчишки начинали работать вместе с отцами, а девчонки выходили замуж и вынашивали детей еще до тринадцати лет.

Нам следовало бы расти, слушая, как отец рассказывает о своей жизни, как он поет, отправляясь с нами охотиться на ящериц или ловить раков в речке Айя, следовало бы вложить наши детские ладошки в его руку, чтобы он показывал нам редких бабочек, ядовитые цветки, приоткрывая тайны природы, которые наверняка хорошо знал; стоило бы узнать о детстве отца на Маврикии, ходить за ним по пятам, когда он навещал друзей либо коллег по больнице, наблюдать, как он ремонтировал машину или менял сломанный ставень, помогать сажать любимые кустарники и цветы: бугенвиллеи, стрелитции или райские птицы, — все, что напоминало ему тот чудесный сад в Моке. Но к чему эти мечтания? Ничего подобного никогда не могло произойти.



Фот. 14. Танец в Бабунго, страна нком

Вместо всего этого мы продолжали вести против него тайную, изнуряющую обе стороны войну, подогреваемую страхом перед наказаниями и побоями. Однако самым тяжелым оказался период, когда он вернулся из Африки. Трудности адаптации к новым условиям усугублялись атмосферой враждебности, которую ему приходилось

испытывать в собственном доме. Гневливость его выходила за разумные пределы, была чрезмерной, изматывающей. Из-за всякого пустяка — разбитой чашки, случайного словца, косого взгляда — отец избивал нас кулаками или прутьями. Я отлично помню, что чувствовал тогда по отношению к нему, это очень походило на ненависть. Все, что я мог тогда сделать, — просто ломать его орудия мщения, но он немедленно отправлялся на холмы, нарезая себе новые. В его поведении было нечто ветхозаветное, товарищи мои никогда не сталкивались ни с чем подобным. Я должен был выйти из этих испытаний возмужавшим и выносливым. Согласно арабской пословице, тот, кого избивают, слаб только вначале, потом он становится сильным.

Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что отец преподавал нам самый важный урок жизни — тот, которого не могла дать ни одна школа. Африка не изменила отца, вовсе нет. Она лишь раскрыла в нем его прирожденную суровость. Позже, когда отец в пенсионном возрасте перебрался жить на юг Франции, он взял вместе с собой это африканское наследие. Власть и дисциплину, граничившие с жестокостью.

Но не только это: обязательность и уважение

как основу поведения в древних общинах Камеруна и Нигерии, где дети не смели плакать, не имели права жаловаться. Религия без излишеств и суеверий, которую он нашел, я думаю, для себя в исламе. Вот как я теперь понимаю то, что некогда мне казалось абсурдным, например его одержимость гигиеной, тщательность, с которой он мыл руки. Или отвращение к свинине — чтобы привить его и нам, он показывал на кончике ножа яйца солитера, которые только что из нее достал. Отцовская манера принимать пищу, варить рис чисто африканским способом, добавляя кипяток по мере того, как выкипала вода. Пристрастие его к отварным овощам, которые он приправлял для вкуса перцем, предпочтение, отдаваемое сухофруктам, финикам, инжиру и даже бананам, которые он высушивал на солнце, разложив их на подоконнике. Ежедневная забота о том, чтобы пораньше выйти на рынок за покупками вместе со своими арабами-носильщиками, которых он «вербовал», когда ходил в полицейский участок продлевать вид на жительство.

На первый взгляд все это могло показаться анекдотичным. Но африканские привычки отца, ставшие его второй натурой, несомненно, явились уроком, к которому ребенок, а затем и

подросток, не мог остаться равнодушным.

Двадцать два года жизни в Африке внушили отцу глубокую ненависть к колониализму в любых его проявлениях. В 1954 году мы отправились в туристическую поездку в Марокко (где один из «дядей» возглавлял сельскохозяйственную корпорацию). Куда больше, чем любые местные достопримечательности, мне запомнился один инцидент: мы ехали в рейсовом автобусе, следовавшем из Касабланки в Марракеш. В какой-то момент водитель, француз, разозлился, оскорбил и высадил на обочину старого крестьянина, у которого, вероятно, не нашлось денег для оплаты проезда. Отец был страшно возмущен, он заговорил о французской оккупации в этой стране, которая не позволяла местным устроиться на работу, даже водителем, и всячески притесняла бедняков. В это время он ежедневно отслеживал по радио, день за днем, бои кикуйя в Кении ради обретения ими независимости и борьбу зулусов против расовой сегрегации в Южной Африке.

Для отца это были вовсе не абстрактные идеи и не политический выбор. Это голос самой Африки звучал в нем, пробуждая древние чувства. Вероятно, когда он путешествовал с мамой верхом по тропам Камеруна, он мечтал о будущем. Все

это происходило до войны, до отцовского одиночества и горечи, когда все было еще впереди, и молодую и обновленную страну могло ожидать прекрасное будущее. Там, вдалеке от продажного и своекорыстного общества побережья, он мечтал о возрождении Африки, сбросившей колониальный гнет и свободной от чудовищных пандемий. О благодатном крае травяных полей, где пасутся ведомые пастырями стада, и деревень, таких как в окрестностях Бансо, с их древним совершенством глинобитных построек с пальмовыми крышами.

Независимость Камеруна и Нигерии, распространившаяся вслед за ними на весь континент, должна была его вдохновить. Каждое восстание становилось для него новым источником надежды. Поэтому только что разразившаяся в Алжире война, на которую могли призвать и его собственных детей, вызвала у него панический ужас. Он никогда не простил бы де Голлю его двойной игры.

Отец умер в год открытия СПИДа. Он уже воспринимал как должное то намеренное «забвение», в которое великие колониальные державы погрузили континент, который еще недавно активно эксплуатировали. Там до сих пор власт-

вовали тираны, созданные с помощью Франции и Англии, — Бокасса, Иди Амин Дада, которым западные правительства предоставляли оружие и деньги в течение многих лет, прежде чем начать их дезавуировать. Тогда двери метрополий были широко открыты для целой когорты молодых людей, покидавших Гану, Бенин или Нигерию в шестидесятые годы, чтобы они в качестве рабочей силы пополняли гетто предместий. Затем те же двери закрылись, когда экономический кризис вынудил промышленные страны проявлять большую осторожность и с недоверием относиться к чужакам. В этих условиях особенно пагубным оказалось отречение от Африки, с ее извечными демонами — малярией, дизентерией и голодом. Возникла и новая чума — СПИД, грозившая уничтожить треть африканского населения, в то время как западные страны, обладавшие средствами защиты от нее, делали вид, что ничего не видят и не слышат.

Камерун, казалось бы, избежал всех этих несчастий. Западные регионы страны, отделившиеся от Нигерии, сделали разумный выбор, избавивший их от коррупции и племенных войн. Однако модернизация и прогресс не принесли ожидаемых результатов. То, что бесследно ис-

чезало в глазах моего отца, имело для него куда большую, непреходящую ценность: патриархальность деревень с их неспешной бесхитростной жизнью, веками выработанной цикличностью сельскохозяйственного труда. Постепенно все это сменилось жаждой быстрой наживы, коррупцией, насилием. Даже находясь вдали от Бансо, отец не мог этого не понимать. Он должен был чувствовать, как время отступает, подобно приливу, оставляющему на берегу вязкий ил воспоминаний.

В 1968 году, пока отец с мамой наблюдали, как под их окнами в Ницце высились горы мусора, оставшегося после всеобщей забастовки, пока я в Мехико прислушивался к гулу армейских вертолетов, доставлявших тела студентов, убитых в Тлателолько, Нигерия вступила в окончательную фазу чудовищной резни, одного из величайших геноцидов века, известного как «война Биафры». Ради владения нефтяными скважинами в устье реки Калабар племена ибо и йоруба истребляли друг друга под безразличным взглядом западного мира. Хуже того, крупные нефтяные компании, в основном англо-голландский «Шелл Бритиш Петролеум», принимали участие в этой войне, воздействуя на свои правительства, чтобы со-

хранить доступ к нигерийским скважинам и трубопроводам. Интересы великих держав столкнулись: Франция приняла сторону биафрских повстанцев, в то время как Советский Союз, Англия и Соединенные Штаты поддерживали федеральное правительство в лице племен йоруба. Гражданская война обрела размах мировой проблемы, стала конфликтом между цивилизациями. Речь шла уже о борьбе христиан против мусульман и сепаратистов против законных властей. Развитые страны воспользовались этой ситуацией, открыв для себя новый рынок сбыта: они стали продавать и тем, и другим легкое и тяжелое вооружение, противопехотные мины, танки, самолеты и даже поставлять немецких, французских и чадских наемников, вошедших в состав четвертой биафрской бригады повстанцев Оджукву. Однако в конце лета 1968 года биафрская армия капитулировала, окруженная и расчлененная федеральными войсками под командованием генерала Бенджамина Адекунле, прозванного за жестокость Черным Скорпионом. Сопротивляться федералам продолжала лишь горстка повстанцев, большинство из которых были подростками, которые, потрясая палками и мачете, грозили советским «МиГам» и бомбарди-

ровщикам. После разрушения Абы (неподалеку от древнего святилища воинов-магов Аро-Чуку) Биафра вступила в период длительной агонии. При поддержке Великобритании и Соединенных Штатов генерал Адекунле блокировал мятежную территорию, лишив ее малейшей поддержки в медикаментах и продовольствии. Под натиском правительственной армии, охваченной жаждой мести, гражданское население устремилось туда, где еще сохранились остатки биафрских территорий, в глубь саванн и лесов, делая попытку выжить на небольшом клочке земли. Мужчины, женщины и дети оказались в смертельной ловушке. Начиная с сентября военные действия больше не велись, но миллионы людей были отрезаны от остального мира — без продовольствия и медицинской помощи. Когда представители международных организаций наконец проникли в зону повстанцев, они были поражены масштабом гуманитарной катастрофы. Вдоль дорог, по берегам рек, возле поселений они увидели сотни тысяч детей, умиравших от голода и обезвоживания. Анклав представлял собой кладбище размером с целую страну. Повсюду, в травяных полях, где я когда-то воевал с термитниками, без всякой цели бродили дети, потерявшие родите-

лей, их маленькие тела успели превратиться в скелеты. После всего этого меня долго преследовало стихотворение Чинуа Ачебе из сборника «Рождество в Биафре», начинающееся строками:

Ни у одной Мадонны, кистью воплощенной,
Со взором трепетным, печальным и невинным,
Той нежности не встретишь обреченной,
С какою смотрит мать, навек прощаясь с сыном.

Чудовищные эти снимки были опубликованы в газетах и журналах по всему свету. Впервые страна, где я провел самую памятную часть моего детства, была продемонстрирована миру, но только потому, что умирала. Отец, тоже видевший фотографии, мог ли он это принять? В семьдесят два года человек способен только смотреть и молчать. Может, еще плакать.

В том же году, когда произошло окончательное разрушение страны, в которой он жил, отцу было отказано еще и в британском гражданстве по причине обретения Маврикием независимости.

С этого момента он перестал думать об отъезде. Раньше он строил планы вновь перебраться в Африку, но не в Камерун, а в южноафриканский Дурбан, чтобы быть поближе к своим братьям и сестрам, оставшимся на родном Маврикии. Затем решил, что поселится на Багамах, купит участок на Элеутере и построит там себе жилище. Он подолгу мечтал, сидя перед картами и подыскивая себе другое местечко, — не из тех, что знал раньше и где ему приходилось страдать, а совсем новый уголок земли, где он начал бы жизнь с нуля, как на необитаемом острове. После резни в Биафре он мечтать перестал. С той поры отец погрузился в упрямое молчание, не покидавшее его до самой смерти. Похоже, он совершенно забыл, что когда-то был врачом и вел полную приключений героическую жизнь. Когда однажды из-за осложнения после гриппа его ненадолго госпитализировали для переливания крови, я с трудом добился от персонала, чтобы отцу самому показали результаты анализов. «Зачем они вам? — спросила медсестра. — Вы что, врач?» Я ответил, что нет, не врач, но сам пациент — медик. Сестра отнесла ему результаты. «Почему же вы не сказали, что доктор?» Отец ответил: «Потому что вы меня не спрашивали». Мне кажется, это

произошло не столько по причине скромности, сколько от желания полностью идентифицировать себя с больными, с теми, кого он когда-то лечил и на кого стал походить к концу жизни.



Фот. 15. Баменда

Мне постоянно хочется возвращаться мыслью к Африке и детским воспоминаниям. К истокам моих чувств и представлений. Мир меняется, правда, и тот, кто стоял посреди высокотравья

полей, кого овевало теплое дыхание ветра, приносящего аромат саванн и неумолчный лесной гомон, кто ощущал на губах влагу неба и облаков, тот теперь настолько далек от меня, что никакие рассказы и поездки не в силах меня к нему приблизить.

Порой во время бесцельных прогулок по городу мне случается пройти мимо двери недостроенного здания, откуда вдруг пахнет на меня холодным, свежим, только что положенным цементом. Тогда я мысленно переношусь в «дорожную хижину» на пути в Абакалики или захожу в темноватый куб моей комнаты, где за дверью меня часто поджидала большая голубая ящерица, которую наша кошка задушила и принесла мне в знак расположения. Или в момент, меньше всего мною ожидаемый, внезапно настигает меня терпкий запах мокрой земли нашего сада в Огодже, когда на крышу дома обрушивается ветер, покрывая рябью ручейки цвета крови, бегущие по растрескавшейся земле. И даже сквозь раздраженный гул скопившихся в уличной пробке автомобилей доносится до меня нежная, терзающая душу мелодия реки Айя.

Часто я слышу голоса детей, они кричат, окликают меня по имени. Дети подходят к ограде дома

у входа в сад: в руках у них камешки и бараньи бабки, они зовут меня играть или ловить ужей. А во второй половине дня, после устного счета с мамой, я устраиваюсь на цементном настиле веранды под жаровней добела раскаленного неба, чтобы мастерить глиняных богов, а потом обжигать их на солнце. Я помню каждого, помню их имена, воздетые вверх руки, маски. Аласи, бог грома, Нгу, Айк-Ифит — богиня-мать, лукавый Агву. Но их гораздо больше, каждый день я придумываю новое имя; они — мои ши, духи, меня оберегающие, заступники мои перед Богом.

Вскоре я увижу, как по сумеречному небу словно пробежит лихорадочная дрожь и меж серыми, с огненной каймой, хлопьями облаков безгласно замелькают молнии. А когда совсем стемнеет, я начну прислушиваться к подступающему громовому раскату, вот он — ближе и ближе, я чувствую приближение мощной волны, от которой скоро затрясется гамак и погаснет пламя лампы. Я слышу мамин голос, отсчитывающий секунды, которые отделяют нас от удара грома — последствия вспыхнувшей где-то молнии: расстояние мама вычисляет, исходя из скорости звука в воздухе, которая равна тремстам тридцати трем метрам в секунду. Наконец накатывает

шквалистый ветер с ледяным дождем, вскоре он уже на кронах деревьев, и мне слышно, как стонет и потрескивает каждая ветка; воздух в комнате наполняется пылью, которую вздымает водяная лавина, шумно ударяясь о землю.

Все это так далеко и так близко. Тонкая, не толще зеркала, стена разделяет два мира — сегодняшний и вчерашний. Нет, я говорю не о ностальгии. Это скорбное и тягостное чувство никогда не давало мне удовлетворения. Я говорю о вещах и об ощущениях самой логичной части моего существования.

Что-то мне было дано, а что-то отнято. Вот, например, что определенно отсутствовало в моем детстве: мне не было дано иметь отца, не было дано расти рядом с ним в сладости семейного очага. Я просто знаю, что этого не было, без сожалений или чрезмерных иллюзий. Такого семейного очага, где мужчина изо дня в день наблюдает за игрой света и тени на лице любимой женщины и внимательным взглядом отслеживает малейшее изменение в состоянии своего ребенка. Все то, что никогда не отразит ни один портрет, не сможет схватить ни одна фотография.

Но зато я прекрасно помню, что́ получил, когда впервые приехал в Африку: настолько мощную,

полную свободу, что она сжигала, опьяняла меня, и я наслаждался ею до изнеможения.

Мне не хочется говорить о притягательности экзотики: детям этот порок абсолютно чужд. Не потому, что их взгляд проходит сквозь существа и предметы, а именно потому, что дети видят только их: дерево, ямку в земле, колонну муравьев-«строителей», шумную стайку ребятишек, ищущих, во что бы поиграть, старика с погасшим взглядом, протягивающего бесплотную руку, улицу африканской деревни в рыночный день. Для детей они — все улицы всех деревень, все старики, все дети на свете, все деревья и все муравьи мира. Бесценное сокровище такого восприятия все еще живо в моей душе, оно неискоренимо. Так что это не просто воспоминания, а нечто большее, что зиждется на очевидности.

Не будь у меня этого «плотского» знания Африки, не получи я этого наследия жизни еще до рождения, кем бы я стал?

Сегодня я живу, путешествую, сам основал семью, пустил корни в других местах. И все же каждое прожитое мгновение пронизано, словно эфирной субстанцией, проходящей сквозь реальность, моим прошлым, годами жизни в Огодже. Временами это полузабытое существование, по-

добно приступам, целиком поглощает и оглушает меня. И речь идет не только о детской памяти, необычайно точно передающей оттенки чувств, запахи, вкусы, объемы и пустоты, ощущение текущего времени.



Фот. 16. Река Нсоб, страна нсунгли

Только теперь, когда я пишу все это, я начинаю понимать, что память эта — не только моя.

Это память времени, предшествовавшего

моему рождению, когда отец и мама вместе путешествовали по высокогорным тропам западных королевств Камеруна.

Память о надеждах и тревогах отца, его одиночестве, его отчаянии в Огодже. Память о счастливых мгновениях, когда отца и маму связывала любовь, которую они считали вечной.

Когда они бродили по дорогам свободы, и названия мест, которые им довелось посетить, запомнились мне как имена родственников: Бали, Нком, Баменда, Бансо, Нконгсамба, Реви, Кваджа. Навеки остались в памяти и названия стран народов мбембе, кака, нсунгли, бум, фунгом, и высокогорье между деревнями Лассим и Нгонзин, по которому медленно брело стадо коров с рогами-полумесяцами, подпирающими мглистые облака.

Возможно, в конечном счете моя давняя мечта мне и не изменила. Раз уж по воле судьбы мой отец стал Африканцем, то и я имел полное право мечтать об африканской матери, которая поцеловала и впервые накормила меня в тот далекий момент зачатия, когда я действительно появился на свет.

Декабрь 2003-го — январь 2004 г.